

ДАВИД ГЛЕЗЕР

ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ

МАРЕВО

РИГА, 1993 г.

ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ

Мне четыре года. Наша семья живет в Петрограде, куда бежала из занятой немцами Риги. В один вполне мирный день мама отправляет меня и старшего на два года брата погулять в городском парке под присмотром молоденькой смазливой нянечки.

Только мы вошли в парк, как рядом с нянечкой возник конопатый чубастый матросик. Но его попытку познакомиться оборвал внезапный глухой выстрел. Нянечка всполошилась, а морячок не растерялся – увлек меня с братом к ограде и одного за другим перекинул через нее. Когда он подсаживал на забор няню, у той задралась юбка и мелькнули белые штаны. Это меня смутило и испугало больше выстрела.

Впоследствии этот одинокий выстрел вошел в историю как «гром пушек крейсера “Аврора”, возвестивший начало новой эры...”

СЫН ФАБРИКАНТА

До оккупации Латвии Красной Армией я считал, что в Советском Союзе живут небогатой, но духовно интересной жизнью. В этом меня убеждали произведения таких писателей как Блок, Есенин, Зощенко, Шолохов, русские переводы из западных классиков и рижские гастроли знаменитых московских артистов. Да еще увлеченные рассказы об этой стране моего друга Б., причастного к нелегальному движению.

Отцу Б. принадлежали в Риге две фабрики, суконная и конвертная, и несколько пятиэтажных доходных домов. Сын учился в Берлинском университете. С приходом Гитлера к власти Б. переехал в Цюрих, где мы с ним и познакомились, а затем сдружились.

Рискуя жизнью, Б. из Цюриха возил в Берлин какому-то японцу подпольную литературу. К своим взглядам друг пытался склонить и меня. А я так же напрасно уговаривал его бросить утопичную игру.

Когда Б. вернулся в Ригу, о его крамольной деятельности прознало Политическое управление. На квартиру фабриканта нагрянули с обыском. Ничего компрометирующего не нашли. Сын остался на свободе, а с отцом случился тяжелый сердечный приступ. И вскоре он умер.

Фабрики и дома унаследовали вдова, сын и дочь.

Мой друг Б. был кристально честным человеком, бесконечно преданным всему, чему он посвящал себя: делам фабрики, нуждам ее рабочих, идеям подполья. В его озабоченном взгляде сквозь толстые стекла очков постоянно улавливалось опасение, как бы чего-то не успеть, оставить не сделанным в этой быстротечной жизни.

Спустя несколько месяцев вошла Красная Армия. Установлена была советская власть, фабрики и дома национализировали.

Рабочие суконной фабрики избрали бывшего молодого хозяина директором. Но партийные власти его не утвердили и назначили директором перекусившегося «переконкрустовца» – латышского шовиниста.

Б. поступил на «ВЭФ» инженером.

Впервые взгляды его пошатнулись, когда он вместе с приезжим военврачом зашел в обувной магазин. При виде ломящихся от товаров полок и прилавков, врач, задрожав от возбуждения, воскликнул:

- Ну и бедный же у вас народ, у нас все это вмиг расхватали бы!

Немного спустя мы с Б. встретились в одном доме с московским ответственным работником.

Лоснистое лицо так и лучилось самодовольством. Ладонью любовно приглаживая выпирающее брюшко, он поучал нас с таким видом, будто до каждого своего слова дошел собственным умом.

- Трудящиеся у нас погрязли в невежестве, не умели ни читать, ни писать, влачили жалкое, полуголодное существование. Вот до чего их кровососы-буржуи довели!

Справедливый по натуре Б. не выдержал:

- Неграмотных в Латвии не было, и никто не голодал. Да, кстати, я и сам бывший буржуй.

Столичный деятель только пронзил Б. взглядом и, ухмыльнувшись, продолжал:

- А все эти рассказы о социальном страховании и больничных кассах – выдумки буржуазной пропаганды!..

Когда мы с другом вышли на улицу, он убитым голосом признал:

- Очевидно, честными коммунистами могут быть лишь наивные чудаки...

Незадолго до начала войны Б. вместе с семьей был сослан в Сибирь, где очень скоро, еще совсем молодым умер.

ТРАГИКИ ПОНЕВОЛЕ

Я работал в республиканском Комитете по делам физкультуры. К нам наезжали учить нас уму-разуму сотрудники Комитета всесоюзного. Они попрекали нас бескультурьем за доклады без шпаргалок. А сами спотыкались на согласовании падежей, говорили и писали: «во многих районах» и уж непременно видели, понимали и чувствовали «о том», а ударения делали в речи, как бог на душу положит. Зато все они были с высшим образованием, а кто даже, как сами выражались, «с двумя высшими образованиями». Скучный, корявый язык, видимо шел от пережевывания втемяшенных в голову штампов, а порою и от подхалимского подражания неграмотному начальству.

Весною 1941 года меня командировали в Москву на сборы руководителей физкультурой средних и высших учебных заведений. Вместе со мной ехал и начальник Отдела физического воспитания Наркомпроса Ц. Благообразный, уже пожилой, но подтянутый тонкогубый господин с бородкой-эспаньолкой, в элегантных, без оправы, очках. По его стати сразу угадывался бывший спортсмен. После сборов мне предстояло вместе с зампредом нашего Комитета побывать на заседании Комиссии по организации очередного физкультурного парада.

Только поезд пересек бывшую границу, как мы попали в совсем иной, неведомый доселе мир. Окончательно подтвердились мои в корне изменившиеся представления о Советском Союзе. Это была не то чтобы небогатая, а нищая, казалось, кем-то нарочно разоренная страна. В деревнях почти одни скособоченные, почерневшие от времени, крытые нередко соломой строения. Вокруг изб – лишь отдельные деревья, никаких цветочных клумб или ухоженных садов и огородов. Оставшиеся позади бедные, по-нашему, латгальские деревни казались теперь цветущими оазисами. Люди были одеты: мужики – в дранные, грязные ватники, бабы – в пестрые, замызганные плюшевые жакеты, на ногах у многих – лапти.

В нашем купе ехала русская дама-рижанка с сынишкой лет шести. Оба припали к окну и не отрывались от него. При виде толпившегося на станциях народа, мальчуган все восклицал:

- Мама, смотри, смотри, опять наши нищие с церковной паперти.

Москва поразила бесцветной людской массой. Почти не попадались прохожие не в темном или не в черном. Не видно было нарядных женщин.

На наши необычные шляпы и пальто нездешнего покроя бросали любопытные и подозрительные взгляды. А если мы кого-нибудь останавливали, чтобы спросить, как пройти на ту или иную улицу, то те почти всегда, не отвечая, шарахались от нас.

На площади перед Белорусским вокзалом закутанная в платок старушка в плюшевом жакете и, хотя уже была весна, в валенках с галошами, надрываясь, волокла к вокзалу два огромных тяжелых чувала: протащит один шагов пять и вернется за другим.

- Поможем бедной старушке, - сказал мой уважаемый коллега.

- Конечно, - согласился я. Но только мы приблизились к ней и Ц., предложив помочь, взялся за чувал, как старушка исступленно, обеими руками, оттолкнула его и истошно закричала:

- Маменьки, ратуйте, ратуйте!

На нас обратили внимание прохожие, и мы, непонятые, предпочли ретироваться.

Назавтра я вечером шел безлюдным арбатским переулком, чтобы передать небольшую посылку из Риги. Желая убедиться, туда ли иду, я догнал ковылявшего впереди, шаркая вывернутыми наружу ступнями, сутулого старика. Когда мы поравнялись с ним, он повернул ко мне бритое, горбоносое, все в морщинах лицо и спросил:

- А ид?

- А ид – ответил я.

- Приезжий вы, сразу видать. А откуда вы будете, если не секрет? – поинтересовался он уже по-русски, опасливо озираясь.

Узнав, что я из Латвии, спросил:

- А как у вас там с антисемитизмом?
- Как повсюду, - уклончиво ответил я.
- А у нас... не дай бог, что было бы, если бы не Сталин. Чтоб он был здоров! – горестно вздохнув, он обстоятельно объяснил, как пройти к нужному дому.
На сборах нас, из Прибалтики, обступали, расспрашивали о жизни там, о ценах и снабжении, разглядывали с ног до головы. Наш сытый и благополучный вид не соответствовал, наверное, тому, в чем их так упорно уверяли. Но были и такие, которые старались показать, что они тоже не лыком шиты. Один из них придрался к моим туфлям на каучуке.
- У вас там, видать, с кожей плохо. Мы такие не носим. Если уж приоденемся, так на нас все горит.

Смазливая курносая девица спросила молодого ироничного эстонца, почему мы, из Прибалтики, совсем другие.

- Еще недавно мы бегали на четвереньках, с длинными хвостами, - объяснял весельчак-эстонец. Но только нам протянули братскую руку, как мы вскочили на задние ноги, и все быстро пошло по-другому. А вам никто руки ведь пока не протягивал.

Девица только хихикнула.

Сборы, на которых, в основном, читались скучные лекции о международном положении и преимуществах советских методов физического воспитания, кончились.

В Москву приехал зампред нашего Комитета, девятнадцатилетний наивный, как все честные комсомольцы, рослый румянолицый красавец. Я встретил его у подъезда, и мы с ним сразу отправились в вокзальный ресторан пообедать. Молодого начальника, хоть он и рос без отца, у матери-уборщицы, обед разочаровал, оказался не таким, как в Риге.

После обеда мы поехали в Центральный Комитет Комсомола на заседание.

У входа сотрудники НКВД проверили наши документы, сличили фамилии по спискам перед ними на столе и пропустили на верхний этаж. Там ту же процедуру проделали уже другие, более высокого ранга, чины того же ведомства. И направили нас в приемную, где, развалясь в глубоких креслах, сидели помощники Первого секретаря. Друг на друга похожие молодые люди во френчах, галифе и сапогах. Как и остальные уже прибывшие участники заседания, мы скромно уселись на стулья.

Помощники пытливо и, казалось, неодобрительно разглядывали недавних обитателей чужого мира.

Когда председатели всех республик и причастных ведомств были в сборе, мы прошли в большой зал. На торцовой стене красовался огромный портрет Вождя, на остальных – кумачовые полотнища с примелькавшимися лозунгами. Мы расселись за общим столом.

И тогда уверенной походкой в сопровождении свиты вошел Первый секретарь М. тоже во френче, галифе и сапогах. После краткого вступительного слова он, прохаживаясь туда и обратно со спрятанной за пазуху ладонью правой руки, произнес речь. Если в облике его, помимо отсутствия пышных усов и трубки, не было ничего своего, то речь М. полностью была перепевом передовой из «Правды»: «Советские физкультурники обязаны продемонстрировать всему миру свою готовность дать сокрушительный отпор проискам империалистов, врагов коммунизма...» и так далее, и так далее.

Прослушав столь исчерпывающий инструктаж, мы, вдохновленные, должны были разъехаться по домам.

Лет через тридцать с лишним я в писательском доме творчества в Дубултах познакомился на теннисном поле с М., который для своего возраста очень неплохо играл. Это был теперь скромный, корректный пожилой человек. М. уже был на пенсии и приехал отдохнуть с дочкой Светланой (только его имя напоминало о его верности в прошлом Вождю), внучкой и внуком, тоже теннисистами.

М., как и я, всю жизнь был предан спорту, и мы быстро сошлись и довольно много общались.

При Сталине он, сын пьяницы-сапожника, сделал головокружительную карьеру. С поста Первого секретаря Комсомола его перевели на должность секретаря ЦК партии,

затем он стал секретарем Московского Комитета. Но со смертью Вождя его стали спускать на тормозах. Отправили послом сперва в одну, затем – в другую страну, которым Москва диктовала свою политическую волю. Затем он побывал на посту министра культуры, на котором прославился приказом о ликвидации к определенной дате отставания драматургии. Потом стал Председателем Комитета по делам издательств и полиграфии. Уйдя на пенсию, занялся публицистикой.

Однажды на прогулке по Яундубулты М. заинтересовала архитектура какой-то дачи.

- Скажите пожалуйста, когда эта дача построена? – обратился он к человеку, который во дворе выгружал из кузова машины уголь.

- До катастрофы, - ответил тот.

М., рассказав мне это, спросил:

- У вас принято так говорить?

- Как у кого, - ответил я.

- Да, мы тут немало дров наломали. Каюсь, и я не без греха. Ведь я тоже был здесь, когда Латвию присоединяли.

Как-то мы теннисном корте, переводя дух, говорили о превратностях нашей жизни, и М. вдруг сказал:

- Нам нужна небольшая безработица. Может, лучше будут тогда работать.

В то время это понимали уже многие, но услышать такое от М. я не ожидал. Потом зашел разговор о власти предрержащих. Я заметил, что вся беда в том, что у них нет ничего за душой.

- Они всего лишь актеры! – бросил М.

- И режиссеры, - добавил я. – А в их театре поневоле играют почти все. Да притом – трагедию.

М. ответил задумчивым молчанием.

ОНИ ТОЛЬКО КАЗАЛИСЬ

Дед – казенный раввин, отец – самарский врач, хозяин ритуальной бани – «микве», мать – из богатой бакинской купеческой семьи.

С таким биографическим балластом Ал. юношей перебрался в Москву. В вуз его, лицензия, не приняли. И он поступил в техникум коммунистического строительства. Работал на заводе. Еще очень молодым дослужился до помощника директора. Потом все же окончил Литературный институт. Был ответственным секретарем толстого московского журнала. Фронтовым корреспондентом участвовал в Отечественной, затем – в Корейской войне. Занимал должности помощника секретаря и секретаря Союза писателей. Основал литературный журнал, реорганизовал одну из ведущих столичных газет и без малого четверть века ее успешно возглавлял. Написал много книг, главным образом, - политических романов. Снискал широкую известность как писатель и влиятельный литературный деятель. И не только – литературный. Был вхож ко всем сильным мира того времени. Удостаивался всевозможных наград, премий, званий, его избирали, вернее – назначали, в разные органы власти.

С Ал. мы познакомились в начале пятидесятых. Свел нас мой друг Ям., талантливый, официально не признанный писатель со взглядами на жизнь и литературу, диаметрально противоположными взглядам Ал. Но обоих сближали холостяцкие интересы, хотя Ал. и был женат.

Ям. уверял, что не будь Ал. евреем, то непременно занял бы в государстве самый высокий пост. Но мой друг ошибался: в этой стране никогда умные, образованные люди самых высоких постов не занимали.

Всегда аккуратно подстриженный и свежесбритый, с неизменной дорогой гаванской сигарой в зубах, щегольски одетый во все заграничное Ал., несмотря на сильную сутулость и выпяченный живот, казался почти элегантным. Но узко поставленные под низким лбом косящие друг на друга за стеклами импортных, в изысканной оправе очков, глаза лишали его обаяния. Не украшала и преждевременно шаркающая походка. Однако изъяны эти полностью скрашивались гипнотическим обаянием успеха, славы и власти. Озарявший Ал. ореол был так ярок, что ослеплял даже людей, хорошо знавших Ал. И много лет проработавших рядом с ним. А он в свою очередь никогда не замечал ни лести, ни неискренности и принимал их как должное.

Как-то к нам с Ал. на прогулке по пляжу присоединился известный врач-хирург. От лицемерно угодливого поддакивания и каскада похвал и комплиментов, расточаемых в адрес Ал., коробило.

Когда мы с Ал. снова остались вдвоем, я спросил, не противно ли ему такое выслушивать. Ал. ответил:

- А вы что хотите, чтобы он мне на голову плевал?

Когда я сказал, что на голову ему как будто не плюю, хотя разговариваю с ним как со всеми, он, ничего не возразив, призадумался.

Выпуклее всего виделся его характер на теннисном корте. Пользуясь своим положением, он всегда выбирал себе в партнеры самого сильного игрока. И Ал. очень гордился, если они с напарником одерживали победу, хоть и причастен был к ней лишь как статист. Ну а когда кто-нибудь из подхалимажа умышленно поддавался ему, то Ал. не замечал этого, даже не подозревал.

Но совсем другим становился Ал., когда дело касалось его литературного труда. Никогда он не говорил о своих писательских успехах, о выходивших несметными тиражами в многократных изданиях книгах.

Однажды я рассказал ему, как наш общий знакомый не стал больше здороваться со мной за то, что я не захотел посмотреть фильм по его сценарию. И я спросил Ал., обиделся бы он, поступи я так же с ним.

- Сказал бы, что вы умный человек, - ответил он.

С ностальгической грустью вспоминал Ал. сталинские времена, казалось, овеванные для него романтикой молодости, и не слышал я от него о творившихся тогда злодеяниях.

Высокопоставленные руководители этой страны, при которых он состоял чем-то вроде «ученого еврея при губернаторе» (такая, казалось бы, анекдотическая должность действительно существовала при царизме), не быть сталинистами не могли. Не мог поэтому и Ал.

Культ Сталина временно разоблачили на XX-ом съезде партии лишь ради того, чтобы установить другой культ, без которого была бы немыслима власть полуграмотных недоучек. И поэтому очень скоро признали, что Сталин, вопреки некоторым ошибкам и перегибам, все же сделал немало и хорошего. А главное – одержал историческую победу в войне. И несколько десятилетий легенду эту эксплуатировали на благо режима. А была ли такая победа? А если была – то не пиррова ли? Но вернее то, что война обернулась величайшим предательством всего многострадального народа. И иной добились бы победы, не уничтожь Сталин лучшие военные и хозяйственные кадры, не доверься он больше чем кому-либо такому же как он сам маньяку-параноику – Гитлеру. И не было бы бессмысленного истребления миллионов и миллионов на фронтах и в Гулаге. Не надо быть статистиком, чтобы понять: раз коммунисты признают потерю в войне двадцати миллионов жизней, то погибло наверняка в три раза больше.

В начале перестройки и гласности я этими соображениями поделился с Ал. во время прогулки по юрмалскому пляжу.

Он, молча выслушав меня, изрек:

- Раньше, до революции, люди старались кем-то или чем-то быть, а потом все пытались лишь кем-то или чем-то казаться...

Спустя несколько лет многие из бывших руководителей стали уверять, что только теперь узнали правду и прозрели. И они опять притворялись, потому что не притворяться уже не умели.

В один из моих приездов в Москву мы с Ал. у него дома, сидя на диване, обсуждали последние события.

Когда я стал рассказывать, как реагируют на них мои знакомые и друзья, Ал., вынув изо рта сигару, перебил меня:

- А знаете, ведь у меня никогда не было друзей, - сказал он и, свесив нижнюю губу, еще сильнее ссутулился.

Я промолчал и подумал, что у человека, который почти всю жизнь пытался лишь казаться, друзей быть не может.

АКАДЕМИК ЛАНДАУ

Настоящими людьми директор Дома творчества считал лишь таких, которые имели какую-то власть. Особенно когда он решал, куда кого поселить.

Академика Ландау с путевкой обменного фонда он упек в общую комнату, где обычно ютились чада безвластных литераторов.

Академик ничуть не обиделся и даже принял это как должное. Но кто-то все же надоумил директора: Ландау, мол, ученый с мировым именем. И для него сразу нашлась, правда, не лауреатская, но отдельная комната.

В столовой за столами корифеев секретарской литературы для него места не хватило. И его посадили со мной и милой театральной дамой.

Когда он явился на завтрак, я уже сидел за столом.

Из-под пышной, чуть тронутой сединой шевелюры ласково смотрели карие глаза мудрого ребенка. На сутулой, долговязой, с неприкаянными руками фигуре небрежно висела чесучевая пара. К ней академик носил ярко-клетчатую рубашку и пестрый, стянутый в крупный узел полосатый галстук. Все это довершали броские желтые сандалии на босу ногу.

Он церемонно расшаркался. Я встал – и мы, пожав друг другу руки, познакомились. И вскоре уже беседовали, как старые знакомые. Тем более, что директор рижской частной гимназии, которую я кончал, – инженер-технолог Яков Львович Ландау оказался родным братом отца академика. Ландау подкупал простотой, искренностью. И оригинальными суждениями. Хорошо знал мировую литературу. За столом, бывало, по памяти декламировал в подлиннике стихи Беранже и бернса. А порою ошеломлял совершенно неожиданными высказываниями:

- Толстого (имелся в виду Лев Николаевич) невозможно читать. У него все так тяжело, так громоздко. Вот Лацис – это писатель!

Спорить с ним было бесполезно. Как-то он завел разговор о проблемах семейной жизни. И сослался на личный опыт.

Они с будущей женой, прежде чем вступить в брак, заключили договор, по которому единственным поводом для развода могло послужить ущемление одной стороной свободы другой.

Он считал, что договор этот вполне себя оправдал.

Его осаждали млевшие и таявшие в лучах светила науки дамы.

Однажды они пристали:

- Скажите, Лев Давидович, кто из дам, по-вашему, тут самая интересная?

- Машенька! – не думая ответил Парис-академик.

Машенька была официанткой – смазливой, аппетитной девчушкой лет семнадцати.

Приговор академика дамы сочли милой шуткой.

В тот же вечер Ландау снова удивил.

Окруженный почитательницами, он отправился в соседний санаторий... на танцы!

Там была и Машенька. И весь вечер он танцевал только с ней.

Я сидел за столом и работал.

Неожиданно постучал в дверь и вошел Ландау. Я предложил ему сесть в кресло, но он почему-то предпочел плюхнуться на кровать.

- А вы все работаете? И не надоест вам? – удивился он.

- Уверен, что вы работаете гораздо больше меня, - сказал я.

- Я никогда не работаю, - возразил он. – Ну какая это работа – лежу себе на диване с клочком бумаги в руке и решаю мною же придуманные задачки.

Я поинтересовался, как он проверяет результат. Академик воззрился на меня, как на глупое дитя. Зачем проверять, если задача решилась.

И тут же он заговорил совсем о другом.

В тринадцать лет он, «перепрыгнув» через несколько классов, закончил среднюю школу. В университет его не приняли. Слишком молод был. И родители отдали его в ... торговый техникум.

Но его заботило тогда не это. Его детской мечтой было... оказаться незаконнорожденным. И он тщетно приставал к матери: не плод ли греха он? Однако больше всего ему мешали в юности жить робость и застенчивость. По сей день он с ужасом вспоминал об этом. Если бы ему в тридцать восьмом предложили освободить его, но с условием, чтобы он снова стал таким, как тогда, то предпочел бы тюрьму.

- А за что вас посадили?

- Ни за что. Как почти всех, - ответил он. - Ну если грехом не считать то, что я в молодости был рокфеллеровским стипендиатом. Тогда со всего мира собирали в Берлине подающих надежды физиков. И еще я был одержим идеей: Россия должна стать самой образованной страной. На мою беду наша пропаганда в то время утверждала, что мы уже давно впереди всех.

Через день его водили на допрос. Следователь, ни о чем не допытываясь, неизменно настаивал:

- Расскажите о своей антисоветской деятельности!

Ландау возмущался глупостью и тупостью следователя. Но с ученым обходились не так жестоко, как с остальными. Физически на него не воздействовали. На это, должно быть, было указание сверху.

Сокамерники осуждали поведение Ландау на допросах. Нельзя, мол, с советским следователем так разговаривать: лес рубят – щепки летят!

Так это продолжалось, пока академик Капица не обратился с письмом к Сталину или Берии, - к кому именно, Ландау не знал, - в котором просил освободить ученого, так как только он способен заниматься явлением сверхтекучести жидкого гелия. Кстати, Ландау никогда этим явлением не занимался.

- Меня стали кормить царскими обедами, - вспоминал он.

- Что это были за обеды?

- Каждый день – котлеты. Ну как тут, у Баумана. (Бауман – директор писательского дома.) И спустя две недели освободили.

Через не более, чем полгода Ландау за разработку теории сверхтекучести гелия удостоили Сталинской премии.

- А за что золотой звездой наградили? – показал я на лацкан его пиджака.

- За страх, - признался он, как в чем-то обыденном, возможном с каждым.

Ландау обожал преподавать студентам. Начались гонения на биологов, затем – на врачей (евреев, в основном). Поговаривали, что возьмутся и за физиков. Он испугался: еще выгонят из университета. И изменил принципу, по которому никогда не занимался техникой.

- Вы, конечно, догадываетесь, что я делал?

За несколько месяцев секретной работы ему присвоили звание героя труда.

А сам он эту работу наукой не считал.

- По крайней мере две трети наших академиков с наукой ничего общего не имеют, - уверял он. - Труды Топчиева, например, - это не более, чем размышления о том, что такое автомобиль.

Как-то вечером меня на пляже вежливо, но сухо остановил незнакомый человек. Манера говорить и казенный костюм выдавали «искусствоведа в штатском». В подтверждение моей догадки он достал из нагрудного кармана и предъявил удостоверение майора госбезопасности. И учтиво предложил пройти в дюны.

- Нам известно, - начал он, - что вы сидите за одним столом с академиком Ландау. Это очень важный и нужный государству человек. Наша обязанность охранять его. И поэтому мы должны все знать о нем: с кем он общается, как проводит время, что говорит.

Пришлось прикинуться простаком:

- Вы ведь знаете, - он академик, лауреат, герой труда. Расспрашивать его о чем-нибудь я не решаюсь. И разговоров так, спроста, мы с ним не ведем.

«Искусствовед» понял, что ему со мной каши не сварить. Посетовал, что не могу или не хочу помочь ему, и ретировался, изрядно испортив мне настроение. (Хорошо, что уже шел 1955 год.)

В последний раз я встретил Ландау возле столовой накануне его отъезда.

- Покидаете нас? – спросил я.

- Уезжаю: ту-ту-ту-у-у... - прогудел академик и вскинутой над головой рукой изобразил выющийся спиралью дым. И лицо его осветила детская улыбка.

СТРАХ

Эдуард с малых лет мечтал стать писателем. И стал им. С особым упоением он писал о своем трудном, но незабвенном детстве, почему, наверно, и остался на всю жизнь большим ребенком.

Нелегко давалась ему, сыну латышского колониста в Белоруссии, возможность учиться. Он работал в лесничестве, в типографии. Три года прослужил в Красной Армии, затем учительствовал. В тридцатом году переехал в Москву. Там он работал и поначалу также жил в издательстве «Прометей», на ночь превращая редакторский стол в постель.

Несмотря на это, он никогда и во сне не помышлял о заговоре, чтобы создать великую Латвию с границей на Урале. Но в этом именно обвинили его и заслали, куда Макар телят не гонял.

Изоцренно пытали, на допросах били по голове валенком, спрятав туда предварительно гири. Но человеческого достоинства так и не вышибли. «Сообщников» Эдуард не предал, напраслины ни на кого не возвел.

Не утонул и не сгорел, когда на пароходе, в трюме которого он следовал этапом на Колыму, вспыхнул пожар. Он сам не понимал, как ему удалось тогда спастись. Чудом уцелел в магаданском аду.

После многих лет заключения, Эдуард очутился наконец на свободе. Реабилитировали его не сразу. В Риге жить запретили.

Он снова взялся за перо, снова неутомимо писал. Но печатать его начали только после смерти Сталина. Вышла книга – в русском переводе – и в Москве.

Не забывая о его прошлом, местные ученые критики и литературоведы утверждали, что Эдуард грешит против метода соцреализма, и не признавали его таланта.

А он продолжал писать и жить своими детскими фантазиями. Придумал себе свое второе «я». Дружил и ссорился с ним, советовался и спорил.

В шестидесятом году Эдуард перебрался в Ригу.

Мы жили с ним в одном доме, часто виделись.

Обычно он встречал меня с напускной, скрывавшей нежную душевность строгостью на лице – сохраненной, видимо, с учительских лет повадкой. Противоречивой была и его внешность. Один глаз у него косил и был полуприкрыт, и на все Эдуард смотрел немного сбоку – след увечья, нанесенного в детстве копытом сбившей его с ног лошади; прямой, словно отесанный затылок, крупные оттопыренные уши контрастировали с высоким, одухотворенным лбом мыслителя. И опять же – низкорослая, непомерно толстая, бесформенная фигура симпатичного косолапого медведя.

О чем бы ни шел разговор, Эдуард неизбежно, накрыв сперва телефон подушкой, возвращался к своим, как он называл их, безотрадным дням. Вспоминал, как доходяг-зэков, плохо одетых и обутых, в пятидесятиградусный мороз пьяные вохровцы гнали на лесоповал. Рассказывал о гнусных «придурках»-операх и глумившихся над «политиками» блатарях.

- Никто твой телефон не подслушивает. Ты их уже не интересуешь. Лучше написал бы обо всем этом, - говорил я.

- Надо на хлеб зарабатывать, - оправдывался он, лукаво ухмыляясь.

Он получал пенсию, жена работала, выходили книги. К тому же он, на редкость неприхотливый, жить лучше и не умел. Но писать о безотрадных днях не рисковал. Чем черт ни шутит!

Однажды когда он был на даче, его жена вместе с моей решили как-то приличнее обставить тесную, необжитую почти «хрущеву». Им повезло – купили румынские подвесные полки, приобрели две тахты с бельевыми ящиками к ним, два кресла, журнальный столик. Общими усилиями мы ухитрились все это вполне удачно разместить в «большой» комнате. До поздней ночи расставляли на полках книги – единственное, чего у него было много. Вернувшись с дачи, он, растроганный до слез, не переставал благодарить нас.

Но когда я вскоре снова зашел к нему, он встретил меня мрачный и растерянный.
- Напрасно вы затеяли все это. Теперь меня опять посадят. Ты ведь не знаешь, сколько людей из-за этих проклятых квартир погибло.

Я принялся увещевать его:

- Не те уже времена. И не в таких как твоя квартирах живет теперь начальство.

Немного успокоившись, он заговорил о наших с ним литературных делах, но вскоре все равно перешел к безотрадным дням.

Пользуясь этим, я, на сей раз настойчивее прежнего, кинулся убеждать его:

- Тебе нельзя не писать об этом. Нельзя на душу такой грех взять.

- Уж напишу когда-нибудь...

- Еще столько, сколько ты прожил, тебе, к сожалению, больше не прожить. Да и память может подвести.

- Вот закончу роман – и сразу засяду... Уже название придумал.

- Какое, если не секрет?

- «Это даже дьяволу не приснилось!»

Спустя некоторое время у него при анализе крови обнаружили значительные отклонения от нормы и предложили лечь в больницу.

Субъективно Эдуард ровно ничего не ощущал. Я советовал ему в больницу не спешить. Но он считал, что теперь это уже неудобно – главный врач для него добился, не без труда, места в спецбольнице.

Возможно, в результате активного лечения крови вспыхнули тлевшие в организме очаги других болезней, и Эдуарда надолго задержали в больнице. Когда он в последний раз позвонил мне оттуда, ему уже трудно было говорить, заплетался язык. Но рассуждал он здраво. Сожалел, что свою главную книгу – «Это даже дьяволу не снилось!» – наверное, не напишет...

Назавтра его не стало. Он умер от сердечной недостаточности, прожив семьдесят семь лет. (Он родился в 1900 году.)

Если в войну год, проведенный на фронте, приравнивался к трем, то один безотрадный год моего друга вполне приравниваем к десяти. И Эдуардом побиты все рекорды кавказских долгожителей.

МАРЕВО

Не прошло и недели, как началась война, а немцы уже подходили к Риге. И их не могли остановить передаваемые по радио и публикуемые в газетах победные репортажи о наголову разбитых дивизиях фашистских захватчиков. Учреждения и ведомства были переведены на казарменное положение. Утром 28-го июня мне позвонила жена, служившая в Управлении прибалтийской железной дороги, и попросила принести ей на работу кое-какие вещи. Побросав нужное в небольшой чемодан, я вышел на почти безлюдную улицу. На перекрестках всех останавливали и не пропускали военные и милицейские посты. С трудом, обходными путями, я добрался до Управления. Там уже готовились к эвакуации. В полдень Управление со стороны вокзала обстреляли из пулемета. Вскоре город стали бомбить с воздуха. С наступлением темноты мы, в чем были, погрузились в эшелон. Ночью он отошел на Ленинград. В пути мы пробыли не менее недели. На территории Латвии по нашему составу раздужой стреляли из леса. На станции Мга беженцев решили использовать на окопных работах. Пригнали машину, груженную лопатами, и роздали их нам. Однако новенькие, из тонкой, гнущейся жести лопаты глинистую почву ни за что не брали. Так ничего и не сделав, мы уныло разбрелись по вагонам. В Ленинграде мы неделю прожили в вагонах на Варшавском вокзале. Затем – какое-то время в общежитии Института железнодорожного транспорта, где нас настигли первые бомбежки. Их жертвой сразу оказались Бадаевские склады. Вскоре в городе начали исчезать продукты. Когда Латвию присоединили к Советскому Союзу, нас уверяли, что непременно заживем лучше прежнего, но в Ленинграде цены оказались втрое выше, даже чем у нас после прихода новой власти. В детстве я почти четыре года, с 1917-го по 1921-ый, прожил в Петрограде, куда наша семья бежала из занятой немцами Риги. Мне хорошо запомнились величественные здания, дворцы, памятники, проспекты. И теперь меня поражала их запущенность. Обветшалый город напоминал обносившегося аристократа. Мостовые зияли глубокими выбоинами. Уличные мальчишки после сильных ливней купались в возникавших лужах. У нас с женой в Ленинграде были родственники. В доме у одних я попросил иголку – пришить пуговицу. Иголка оказалась абсолютно тупой. Я сразу вспомнил гнущиеся жестяные лопаты, которыми мы в пути пытались рыть окопы. И позволил себе усомниться в возможностях советской промышленности. Но хозяин дома, милейший человек, тут же испуганно перебил меня: - Зато наши танки самые лучшие в мире. – И уже шепотом добавил: - На такие темы у нас рассуждать не принято. Однажды я вечером возвращался с Петроградской стороны. На Марсовом поле я попал под бомбежку и укрылся в убежище. Из темноты раздался злобно негодующий женский голос: - Из-за этих гадов-жидов нам теперь страдать. Не они, так никакой войны бы не было. Родственники подтвердили, что в народе, правда, бытуют антисемитские настроения, но спасибо Сталину, что не дает им разгуляться. В семье жениных родственников все мужчины ушли в армию или ополчение, а женщины с детьми эвакуировались в тыл. И мы с женой перебрались в их квартиру. В Риге я, как и многие, в теплую пасмурную погоду выходил на улицу, перекинув через руку плащ. Из-за этой привычки меня тут часто останавливали, спрашивая, сколько я хочу за плащ. Принимали за спекулянта или – что еще хуже – за иностранца. Один из моих новых знакомых предостерег меня:

- Смотри, как бы ты из-за плаща своего в беду не попал.
Плащ, видимо, и навлек на меня подозрения соседей по дому.
Однажды, когда я спустился во двор, из-за угла ко мне кинулись и окружили меня несколько женщин с перекошенными злостью лицами:
- Это он – шпион! Это он! – наперебой закричали они белобрысому милиционеру, который подоспел к ним, поддерживая кобуру револьвера.
- Предъявите документы! – потребовал он.
Я достал свой новенький советский паспорт.
Полистав его, милиционер придирчиво спросил:
- А почему тут не по-русски?
Я объяснил, что в Латвии, как и в других республиках, паспорт оформляется на двух языках: на русском и на местном. Мне повезло – милиционер попался понятливый, и он отпустил меня с миром.
Несколько раз меня вызывали в военкомат, но, выяснив, что я из Латвии, в армию не брали. Лишь в октябре все же мобилизовали.
Прибалтийских беженцев или выходцев из тех краев, а также немцев, поляков и других, считавшихся неблагонадежными, отсеяли. Туда же попали и такие, что родились и выросли в Советском Союзе или даже считали себя русскими.
Из нас сформировали трудовые отряды и отправили под Ленинград на лесозаготовки. Город к тому времени уже был полностью окружен.
На лесозаготовках нас поселили в бараки. Паек наш составляли двести граммов сырого, даже мокрого хлеба и, дважды на дню, баланда, в которой крупинка крупинку догоняла, а иногда еще блуждал крохотный кусочек конины. Некоторые из нас подливали в похлебку воду и, чтобы было сытней, круто солили ее. От этого они быстро опухали.
Работа в лесу двигалась вяло. Дневная норма, три кубометра сваленного и распиленного леса, никому не была по силам, даже тем, кто на лесоповале не был новичком. Мы быстро тощали и слабели.
Для вывоза леса к железной дороге нам выделили лошадей. На несчастных, безответных животных больно было смотреть – одни облезлые шкуры да кости. Когда мы немощными руками запрягали их, кой-как затягивая супонь и прилаживая гужи, коняг пошатывало. И они взирали на нас полными скорбной укоризны глазами.
Как-то на таком одре в соседний леспромхоз приехал по своим делам колхозник. Вернувшись после недолгой отлучки к саням, он нашел лишь конскую голову, хвост и копыта, да еще упряжь. С лошадьё случился обморок, чем воспользовались шедшие мимо красноармейцы.
От лошадей вскоре пришлось отказаться. Голодные люди все же были выносливее. Хотя и нас под грузом бревен качало из стороны в сторону.
В наши редкие посещения бани – сруба с обледенелыми изнутри стенами – отошавшие люди с выпирающими, как обручи, ребрами, в клубах пара, пропитанного неверным светом коптилок, казались потусторонними призраками.
В конце года пришел приказ переправить нас через Ладожское озеро по Дороге жизни, которая для многих из нас стала дорогой смерти, и далее – в недавно освобожденный Тихвин.
Говорили, что за озером дают по четыреста граммов хлеба. И неведомый доселе край представлялся нам землею обетованной.
Роту подняли еще затемно, построили и повели к железной дороге для погрузки на поезд, который доставил бы нас к озеру.
Поезда ждали долго. Лютый мороз пробирал нас до костей. Люди пытались согреться, прыгая с ноги на ногу, похлопывая себя ладонями, толкая друг друга. Но вскоре силы иссякли, и кое-кто уже стал впадать в апатию. Но окончательно доканать нас стужа не успела.
На рассвете состав все же подали – вагоны пригородного сообщения, влекомые небольшим паровозом, из расширенной сверху трубы которого густо клубился подсвеченный лучами холодного солнца розоватый дым.

Мы плотно забились в вагоны, которые с трескучего мороза показались нам даже теплыми. У меня откуда-то нашлись силы забраться под самый потолок, на две стыкованные под прямым углом багажные полки. И, несмотря на неестественную позу, я до самой высадки проспал мертвецким сном.

Когда мы прибыли к озеру, уже стоял яркий день. Кругом насколько хватал глаз – слепящая снежная белизна с чернеющими кое-где служебными строениями переправы.

До наступления темноты мы вынуждены были оставаться на ледяном, обжигающем ветру. Двигаться по трассе днем запрещалось.

После полудня прибыли долгожданные полевые кухни. Нам роздали, как всегда, скудные порции, на сей раз почему-то ярко-лиловой – видно, из мороженой крупы – гречневой каши, которая пронзительно контрастировала с окружающей белизной. Заморив червячка, мы в чуть лучшем настроении продолжали дожидаться переправы.

Как только стемнело, мы под аккомпанемент гула орудий, методически бивших по озеру, пустились в путь.

Идти было приказано каждому самому по себе, сообразно его силам.

Женщин посадили на машины.

Мы шли вдвоем с командиром роты, приятным, трезво мыслящим человеком, и старались отвлечься разговорами.

В каптерке Гренадерских казарм не нашлось сапог моего, сорок третьего размера. И в выданных мне резиновых сапогах нещадно мерзли ноги. А пройти надо было тридцать пять километров.

Около половины пути мы с командиром – он, как и я, до войны усердно занимался спортом – одолели сравнительно легко. Но идти становилось все труднее.

По обочинам размеченной ледовой трассы с небольшими интервалами, словно распятые, разметав руки, плашмя лежали выбившиеся из сил красноармейцы. Их тщетно пытались растолкать, привести в чувство. Там же, вперемешку с ними, валялись убитые, развороченные немецкой шрапнелью люди и лошади. Бедным животным доставалось еще и мертвым. Их трупы кромсали и терзали проходившие голодные бойцы.

В ночной темноте возникло лиловое марево того же цвета, что каша, которой нас кормили на берегу. И вдалеке манили очертания уютных, утопающих в цветущих садах домов с колодцами и лавками у ворот. Но приблизиться к ним не удавалось – они рассеивались, исчезали, чтобы явиться снова, уже в других очертаниях. И так – до самой цели, где нас, якобы, ожидали четыреста граммов хлеба.

Выступившие раньше нас роты уже достигли другого берега и укрылись в единственном там убежище – небольшой старой церкви. А народ все подходил. Вскоре его набилось в церкви столько, что стоило приподнять занемевшую ногу, и уже некуда было опустить ее.

Бывший храм божий превратился в душегубку. И горе тому, кто не в силах был устоять на ногах. Отупевшие от усталости и отчаяния люди могли затоптать насмерть.

Время от времени мы выходили на обжигающий мороз, но дыхание перехватывало и там. Послonyaвшись минут двадцать, мы были вынуждены вернуться в церковь.

В одну из таких «прогулок» нам с товарищем повезло – на огородной грядке мы нашли несколько мерзлых картофелин. Недолго думая, мы съели их сырыми. И вот с тех пор прошло уже полвека, а я не могу забыть, как вкусна была эта мерзлая сырая картофелина.

Мы дотерпели до утра, пока не подтянулись все, кому удалось уцелеть на озере.

Роту построили, пересчитали. И накормили, опять же как обычно, жидким варевом и теми же двумястами граммов хлеба.

Пройти предстояло еще без малого девяносто километров.

За озером на продпунктах не было соли. От этого мы страдали не меньше, чем от нехватки хлеба. Когда мы прошли километров тридцать пять, нам объявили, что до Тихвина продпунктов больше не будет и что опять каждому следует добираться самостоятельно.

Ко мне в напарники попросился симпатичный парнишка лет восемнадцати по имени Коля. Ему, видно, приходилось очень трудно, и во мне, старшем его лет на десять, он, должно быть, надеялся найти опору.

Без начальства нас не хотели пускать на ночлег. Иной раз мы убивали полдня, прежде чем устроиться на ночь.

По дороге мчались из Ленинграда уже доставившие дуга грузы машины. На обратном пути они брали пассажиров, преимущественно – беженцев. Таких как мы водители в кузов не сажали, даже в пустой. Как мы узнали потом, они перевозили только за водку. Отказывая нам, водители ссылались на приказ, запрещающий брать в машину кого-либо без валенок. Хотя в машине ноги можно было утеплить любым тряпьем.

Мой спутник, вконец обессиленный, в истерике рухнул поперек дороги на снег и заявил, что дальше не пойдет. Я тщетно пытался уговорить его встать.

Перед нами затормозила машина. Из кабины выскочили водитель и сидевший с ним старшина. Оба в нагольных полушубках, валенках, с наглыми самодовольными мордами. Они обрушились на нас отборной руганью. Я попытался упросить их посадить Колю в кузов. Старшина в ответ выхватил из кобуры наган, пригрозив пристрелить. Затем оттащил Колю за ноги к обочине.

С большим трудом мне все же удалось поднять напарника. И мы побрели дальше, все еще пытаюсь остановить какую-нибудь машину. Однако водители все как один были черствы и жестоки.

После этого нам повезло: нас с Колей пустили на ночь в избу. Зашедший к хозяину сосед предложил уступить Коле... за ватник лепешку, испеченную из смеси картофеля и муки. Я убеждал Колю ватник не отдавать, но напрасно. И мужик, состроив сердобольное лицо, взял себе ватник, оставив Колю в худой, дырявой, прожженной у костра шинельке.

Наконец мы все-таки добрались до заветного Тихвина. Местом сбора была полуразрушенная, как большинство городских зданий школа. И вместо снившихся нам четырехсот граммов хлеба каждому выдали по толике муки, из которой мы на жестяных листах, сорванных ветром с развороченных кровель, стряпали на кострах нечто вроде блинов.

Из Тихвина нас поездом отправили в Вологду. Больше не надо было, да мы уже и не были способны, топтать пешком. Без посторонней помощи я не мог даже забраться в теплушку. А ведь до войны подтягивался на одной руке на перекладине.

В Вологде многих из нас положили в госпиталь – с дистрофией и обморожением. К тому времени я весил неполных сорок килограммов.

Вдруг оставили последние силы. Я сам не понимал, как перенес все эти испытания. С великим трудом, опираясь на стену, добрался до душевой. Хорошенькая, пахнущая свежестью сестричка лет девятнадцати взяла меня на руки и отнесла в ванну. Вылезая из ванны, я в зеркале увидел свое отражение – дряхлого, изможденного, все ребра наружу, старика. Ляжки мои были не толще запястий рук. Живое пособие по анатомии скелета.

В госпитальном тепле, белых простынях, заботе врачей и сестер словно материализовались идиллические картины, рисовавшиеся на озере маревом. Но для тех, кому уже ничем нельзя было помочь, и это оказалось лишь маревом.

Недели через две нас эвакуировали в тыл. Более полугодя лечили меня в госпитале под Березниками, прежде чем выписать и отправить в часть – в запасной полк сформированной за это время Латышской дивизии, которая уже успела повоевать под Москвой.

НЕПОБЕДИМЫЕ

Провалявшись месяцев семь в госпитале, я прибыл в запасной полк. Рота, в которую я попал, насчитывала сто восемьдесят человек, вооружена она была семью учебными винтовками и двумя десятками выструганных из дерева бутафорских ружей. На полковых учениях вместо гаубицы волокли по земле бревно. Поднимали нас в три часа утра и гнали в лес за хворостом и валежником. Много внимания уделялось шагистике, отработке подхода к начальнику и отхода от него. Лишь однажды нам показали, как обращаться с пулеметом Дегтярева. (Только показали!) И лишь раз сходили мы на стрельбище. Там каждому выдали по три патрона, и мы из пистолета-автомата по очереди пытались поразить мишень. Того, кому это удавалось с первого выстрела, объявляли отличником огневой подготовки, сберегая так два патрона для уничтожения врага. При этом многие из роты до войны в армии никогда не служили: были признаны негодными для строевой службы или же пребывали в местах не столь отдаленных.

Наш паек, в основном, состоял из шестисот граммов хлеба, жидкой, обычно – ячневой похлебки и скудных порций каши из той же крупы.

Через шесть недель сформированная из нас, измученных и полуголодных, маршевая рота была построена для отправки на фронт.

Перед нами выступил лихо затянутый в скрипучие ремни, сытый, отъевшийся на зажиленных у нас харчах комиссар полка. И из его зажигательной напутственной речи мы узнали, что наша армия обучена лучше всех армий в мире, и поэтому непобедима.

РАССТРЕЛ ПОЛКА

Наш полк прибыл на позиции восточнее населенного пункта С. Батальоны насчитывали по пятьсот активных штыков. Задачей полка было овладеть населенным пунктом.

Изо дня в день мы на рассвете, после артподготовки, безуспешно атаковали противника, встречавшего нас кинжальным пулеметным огнем. Через десять дней в ротах осталось по двенадцать – пятнадцать человек. Подразделения стали пополнять тыловиками: сапожниками, портными, ездowymi.

В один вечер меня из батальона направили в штаб полка – заменить приболевшего писаря, а оттуда – к самому командиру.

В полку роптали на жестокость малограмотного командира. Считали, что там, где достаточно было бы потерять не больше отделения, он ухитрялся погубить роту.

Я вступил в сумрачную, призрачно освещенную пламенем коптилки землянку. По пояс оголив обрюзглое, жирное тело, на топчане развалился искавший в рубахе вшей командир полка. Против него сидел на лавке щуплый паренек с таким же белым, как его маскхалат, лицом.

Я доложил о себе. Командир, зло сверкнув глазами, покосился на табурет у дощатого стола – указал на мое место. И, продолжая яростно расправляться со вшами, принялся диктовать боевой приказ: штурмовой группе в составе тридцати шести штыков с двумя станковыми пулеметами, под командой сидевшего перед ним старшего лейтенанта, предстояло без артподготовки атаковать населенный пункт С. и овладеть им.

Ночью штурмовая группа окружила и уничтожила гарнизон населенного пункта – пехотный взвод, вооруженный восемью пулеметами.

КАК Я ВСТУПИЛ В ПАРТИЮ или ОБРАТНАЯ СИЛА АРГУМЕНТА

Накануне Курско-Белгородской операции я служил в роте автоматчиков. Перед боем ко мне подошел парторг – шустрый, крутоносый, как горный орел, грузин – и весело крикнул:

- Вступай, Давыд, пока дошэво! Крэпчэ фрица бить будэш!

Из-за его акцента я даже сразу не сообразил, о чем речь. Но до меня все же дошло, куда он клонит.

- За дешевками, сержант, я не гоняюсь, - ответил я.

Мой ответ мог стать роковым. Мое легкомыслие объяснялось незнанием советской действительности. К счастью, парторг оказался порядочным парнем, и все обошлось.

Вскоре меня перевели в штаб дивизии на должность переводчика. Там тоже стали тянуть в партию, но мне помогли устоять аргументы самих же политработников: я, мол, хорошо работаю и потому должен стать коммунистом, чтобы работать еще лучше. Эта «логика» только укрепила мою интуитивную неприязнь к никому не нужной, как мне казалось, суетне политотдельцев. Войсковая разведка представлялась мне занятием серьезным, и не хотелось оставлять его ради политотдела, куда пытались сманить меня из-за моих знаний в немецком языке.

Вскоре я очутился в госпитале, а оттуда попал на ту же должность, но уже в штаб корпуса. И там меня так же стали осаждать майоры и подполковники из политотделов вышестоящих штабов. И все в один голос пытались убедить меня все тем же стереотипным доводом: вступишь в партию, будешь лучше работать. Но этим они лишней раз убеждали меня в абсурдности своих утверждений.

Едва кончилась война, как меня отправили в Вену, где я стал переводчиком в дипломатической группе политического советника главнокомандующего оккупационными войсками в Австрии.

Атака на мою беспартийность возобновилась. Наш парторг сразу, без обиняков, завел со мной разговор: меня, мол, со временем оформят в штат МИД-а, для чего членство в партии обязательно.

Я возразил:

- Евреев в МИД не берут, сейчас от них там избавляются.

Парторг состроил кислую мину и принялся перечислять евреев-дипломатов, загибая при каждой фамилии по пальцу. И обошелся пальцами одной руки. Назвал Лозовского (руководителя Информбюро, расстрелянного впоследствии Сталиным), Сурица (доживавшего свой дипломатический век где-то в Южной Америке), еще кое-кого – и осекся.

- У тебя получается как в анекдоте о порядочных одесских евреях, - сказал я. – Рассказать тебе?

- Ну, давай, - ответил парторг, который был любителем еврейских анекдотов.

- «Вы можете назвать в Одессе хоть двух порядочных евреев?» – спрашивает Абрамович Хаймовича. «Что за вопрос?» – отвечает Хаймович. – «Ну, Рабинович...» – И после долгой паузы: - «А из Николаева можно?»

Парторг хихикнул и обещал поговорить со мной в другой раз.

Меня спас восстановленный через некоторое время довоенный порядок, при котором за границей в партию не принимали.

МАЛОДУШИЕ ГЕРОЯ

Лейтенант Ф. Прибыл к нам в полк на должность офицера разведки, второго помощника начальника штаба – ПНШ-2. Ему было лет тридцать. Участник испанской войны, статный, обаятельный, общительный. Несмотря на мечтательный склад души, он оказался храбрым офицером. В полку его сразу полюбили. Полюбил его, даже привязался к нему, суровый и подозрительный командир полка. Вскоре он без Ф., казалось, не мог и шагу ступить. Брал его с собой в батальоны, на НП и передовую. Мы с Ф. Оказались ровесниками, к тому же у нас было много общего в прошлом, и быстро сдружились.

В самой демократической армии в мире офицерам выдавали доппаек: масло, консервы, печенье. Всем этим Ф. Делился со мной, поскольку мне такой паек по чину не полагался. Часто мы ели из одного котелка, спали, укрывшись одной шинелью, используя другую как подстилку. Не раз вместе попадали в переделки – под пулеметный или артиллерийский обстрел. Он обычно оставался спокойным, невозмутимым, ободрял товарищей.

По указанию ПНШ-1 капитана Юн. я составил боевое донесение. Юн. понес его на подпись командиру полка или, как говорили у нас, - хозяину. Командир в тот день заметно перебрал, то есть позволил себе намного больше обычной нормы и, как всегда в подобных случаях, был несносно придирчив. Он наотрез отказался подписать донесение, толком так и не разъяснив смысл своих возражений. Не подписал и исправленный затем, якобы, по его же указаниям вариант. Не понимая, чего от него хотят, Юн., чтобы не опоздать с донесением наверх, - за это могло нагореть, - решил подписаться за командира, на что имел право как исполняющий должность начштаба.

Наутро командир, проспавшись, хватился, что накануне не подписал донесение, вызвал Юн. и стал отчитывать: почему, мол, донесение отправили без его, командира, подписи. Капитан, недолго думая, солгал, что донесение без его ведома отослал я. Командир пришел в ярость и тут же приказал немедленно откомандировать меня в батальон.

Я кинулся к своему другу, который знал всю подоплеку этой истории, и попросил его сказать командиру правду.

Ф. Спокойно выслушал меня и после тягостной для меня паузы, сохранив на лице свое невинно-мечтательное выражение, изрек:

- К хозяину я не пойду. Ведь ты не хочешь, чтобы я помог тебе отвертеться от передовой?

- На передовой я уже немало побывал и никогда от нее не увиливал. Но правду ты хозяину все же скажи.

- К хозяину я не пойду, - повторил он все с тем же выражением лица.

Я собрал в вещмешок свои пожитки и ушел.

Ф., видимо, не захотел портить отношения ни со временным начальником, ни с командиром полка. Чинопочитание и угодливость перед начальством оказались у Ф. Сильнее других качеств.

Мы встретились снова года через четыре, уже после войны. Нам с ним повезло, удалось уцелеть. Его, правда, тяжело ранило в ногу, и война кончилась для него на два года раньше. У меня все сложилось по-иному, и я, как говорили на фронте, провоевал от звонка до звонка, и еще прослужил несколько лет за границей.

Встретились мы с ним в Союзе писателей. К тому времени я стал литературным переводчиком, а он уже был довольно известным писателем. Мы вели себя так, как если бы между нами никакой размолвки и не было. Я уже успел понять: нечего винить человека за то, что пришлось разочароваться, обмануться в нем. В таком случае остается лишь посетовать на себя – на свою непроницательность.

Вернувшись в родной город, я долгое время ютился по разным углам и комнатам.

Как-то у меня об этом зашел разговор с Ф. Он принялся корить меня:

- На твоём месте я уже давно имел бы квартиру. Ты – фронтовик, в твоих переводах выходят книги известных наших авторов, пускай в Союзе писателей напишут письмо кому-нибудь из высших руководителей с просьбой выделить тебе квартиру. А мы все подпишемся. Его идея, признаться, понравилась мне. Но в душу все же вкралось сомнение. В ту пору бушевали антикосмополитические, вернее – антисемитские страсти. А в конъюнктурных склонностях Ф. Я уже успел убедиться. Но у меня другого выхода не было, и я попросил секретаршу Союза, милую и добрую женщину, составить такое письмо. Она охотно сделала это и сама собрала нужные подписи. Кроме одной – моего друга, по сути, инициатора письма.

Я поинтересовался, чем он мотивировал свой отказ подписать. И секретарша ответила:

- «Я это письмо не подпишу, - сказал он мне. – Ведь квартиры нужны многим, так с чего же мы будем делать для него исключение?»

Итак, мои опасения подтвердились. Тем более, что письмо было адресовано одному из местных вдохновителей борьбы против космополитизма, с которым Ф. Уже успел сдружиться.

А МЕНЯ-ТО ЗА ЧТО?

Лейтенант административной службы Ниночка Смирнова числится в оперативном отделе. Но исполнять там свои обязанности ей некогда, и с ними, заодно с собственными, управляется разбитной еврей-писарь.

Складные формы Ниночки, ее игриво вздернутый носик, чувственный рот и серые миндалевидные глаза с длинными загнутыми кверху ресницами приворожили командира корпуса, уже немолодого, брюхастого великана с круглой и лысой как бильярдный шар головой. И теперь делом Ниночки было услаждать ратное житье-бытье Бати – как за глаза принято величать комкора – и не без его попустительства нагло помыкать генеральской челядью. И худо приходилось строптивцам. Так например, ординарец комкора за то, что послал Ниночку подальше, не пожелав простирнуть ее белье со своим, угодил на передовую.

Война уже близилась к развязке, когда противник в районе озера Балатон остатками нескольких танковых и пехотных дивизий перешел в контрнаступление. И даже добился весьма ощутимых успехов. Разгромил укрепрайон – вооруженную пулеметами и пушками бригаду, занимавшую первую линию позиций корпуса. Трое суток мы, неся немалые потери, ожесточенно оборонялись.

В разгар боев внезапно занемог и удалился в медсанбат мой начальник, другого помощника куда-то прикомандировали, а еще раньше погибла под бомбежкой переводчица. И так я остался в разведотделе один.

Чуть ли не сутки напролет приходилось выяснять и уточнять по телефону обстановку и по СТ (самопишущему телеграфу) свои выводы докладывать наверх. И еще я писал приказания на разведку, выезжал в дивизии. В одной из них немецкие танки прорвались в расположение штаба. Пришлось таскать к пушкам снаряды. Один танк подбили, другой повернул назад.

На четвертый день мы возобновили наступление. И вскоре продвинулись к самой австрийской границе.

В тихий, почти мирный день неожиданно, веселая и сияющая, ко мне заявила Ниночка. Еще с порога она прокричала:

- Нас с тобой наградили, одним и тем же – «Красной Звездой!»

- Поздравляю! – бросил я, но не сдержался и добавил: - А меня-то за что?

Не знаю, дошел ли до красоты мой сарказм. Думаю, что нет. А то не миновать бы мне беды.

ДОЛОЖИЛ ОБСТАНОВКУ

Служу переводчиком в разведотделении штаба дивизии. Мой начальник – майор Х. – видный, представительный мужчина лет тридцати пяти. Образование у него высшее – кажется, инженерное, и он не без претензии на интеллигентность.

В один прекрасный день майор является к нам в землянку, широко улыбаясь и победно потирая руки:

- Ну и доложил я, товарищи, Бате сегодня обстановку. Иду я к нему с докладом и еще за дверью землянки слышу, как он говорит начальнику штаба, какой, по его мнению, противник перед дивизией. Тот пытается что-то возразить, но Батя настаивает на своем...

Дослушав их до конца, я постучался, вошел и, как по нотам, слово в слово отбарабанил все то, что предполагал Батя. Ну и доволен же он был. Как благодарил и хвалил нас: «Молодцы, разведчики!»

ПУТЬ РЫЦАРСКОГО ЖЕЛЕЗНОГО КРЕСТА С ЛАВРОВЫМ ВЕНКОМ И БРИЛЛИАНТАМИ

Зимой 1956 года я в Доме творчества писателей познакомился со вдовой известного, убитого Сталиным, еврейского поэта. Она мне рассказала, что сразу после войны они с мужем отдыхали на юге, где поэт познакомился и сдружился с командующим Закавказским военным округом. Генералу очень нравились стихи ее мужа. Это меня удивило: ценитель поэзии нашелся, да еще еврейской!

Дело в том, что в войну я какое-то время служил в армии, которой командовал этот генерал. Он запомнился мне грубым, самодуристым солдафоном. Когда он, в распахнутой шинели, опираясь на клюку, окруженный автоматчиками, появлялся в расположении армии, подчиненные предпочитали не попадаться ему на глаза, придирчиво шнырявшие за стеклами грибоедовских очков. Не выясняя и не разбираясь, генерал мог палкой разбить лобовое стекло «виллиса» из чужого соединения, если ему показалось бы, что тот мешает переправе армии.

- Он даже подарил мужу немецкий орден, - возразила в оправдание генерала моя собеседница и тут же достала из стоявшей на столе шкатулки брошь, явно переделанную из подобного мрачному цветку Рыцарского железного креста. Нижний лепесток ювелир преобразил в отливающий бриллиантами кометный хвостик.

- Так это ведь Рыцарский железный крест с лавровым венком и бриллиантами генерала от артиллерии Штеммермана! – воскликнул я.

Этой самой высокой военной награды рейха Гитлер удостоивал своих оказавшихся в критическом положении генералов. Например, Паулюса под Сталинградом.

Армия генерала – любителя поэзии участвовала в окружении Корсунь-Шевченковской группировки вермахта, которой командовал генерал от артиллерии Штеммерман. Верхом на коне, в полной парадной форме он руководил прорывом из окружения и был убит осколком мины. Его труп при всех регалиях потом лежал на ВПУ – выносном пункте управления штаба армии, на котором я находился в качестве переводчика.

НАШИ КОМАНДИРЫ

Произошло это незадолго до конца войны, в Венгрии. Наш корпус был отведен в тыл на переформирование. Я тогда исполнял обязанности помощника начальника разведотдела по информации.

Как-то ко мне зашел начальник разведки командующего артиллерией корпуса – обаятельный, интеллигентный капитан, с которым мы обычно делились информацией о противнике, и предложил распить с ним трофейную бутылку отличного кубинского рома. Я не был ни знатоком, ни особенным любителем крепких напитков, но от приглашения симпатичного мне товарища все же не отказался.

За довоенными воспоминаниями и общими рассуждениями о жизни мы усидели бутылку и расстались.

И только мой приятель ушел, как мне позвонил начальник штаба и приказал до вечера придумать и нанести на карту обстановку за противника. Утром командир корпуса проведет по этой карте учения с командирами полков.

Я тут же принялся за дело, и к вечеру, в назначенный час представил карту начальству.

Окончательно еще не протрезвев, завалился спать. Проснулся я поздно, но, едва продрал глаза, взглянул на черновик своего сочинения – и ужаснулся. Под влиянием алкогольных паров я тригонометрические пункты на карте принял за высоты и соответственно построил оборону противника. На пунктах разместил эскарпы, доты, дзоты, отдельные огневые точки и так далее.

А учения с командирами полков уже шли полным ходом. Однако моей оплошности, как потом выяснилось, никто из участников занятий не заметил.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ КАЗАК

Наш штаб стоял в небольшом венгерском городе – Эгере. Разведчики обеспечили нас трофейными лошадьми, и мы, совмещая полезное с приятным, охотно ездили на задания верхом.

Я улицей возвращался из дивизии. Ехал шагом и размышлял над аксиомой старого еврея у Бабеля: еврей, севший на лошадь, уже не еврей.

По тротуару навстречу шла курносая девушка-сержант. Хотя ужк была весна, стройную фигурку облегла ловко подогнанная шинель, одной рукой девушка покачивала вещмешок. Видимо, возвращалась из отпуска или госпиталя. Поравнявшись со мной, она звонко крикнула:

- Эй, казак, ты - пливевский? (Плиев командовал группой казачьих соединений, воевавших по соседству с нашим корпусом.)

- Нет, - ответил я, натянув поводья, - иерусалимский я!

- А-а, - разочарованно произнесла симпатичная казачка и, лихо козырнув, зацокала каблучками франтоватых сапожек.

Вскоре мы оказались в Австрии...

На другой день после окончания войны мы с товарищем, в приподнятом настроении, сели на коней, чтобы полюбоваться красотами живописной Штирии.

Мой товарищ, старший лейтенант Моня Фукс по своим повадкам и замашкам – типичный одессит. Из-под щегольски заломленной фуражки курчавится черный чуб. У Мони крупный, не портящий, по мнению французов, хорошего лица, нос и полные мировой скорби глаза.

Мы решили заехать на усадьбу, которую у нас непременно сочли бы кулацкой. Дом под железной крышей, ухоженный двор, добротные службы, аккуратно возделанный огород, цветущий сад. Такие дома там почти во всех крестьянских хозяйствах.

Липовая аллея привела нас на двор.

От дома, бледные с перепугу, кинулись к нам седовласые старик со старухой и, молитвенно сложив руки, упали на колени.

О, помилуй, господи Иисусе! Казаки!.. – запричитали они враз.

Казаков они, очевидно, запомнили еще с первой мировой.

- Мы не казаки, а евреи, - успокоил я по-немецки несчастных, и они, облегченно вздохнув, растерялись еще больше.

Мы повернули коней и уехали со двора.

В 1950-ом году я прилетел в Краснодар, собираясь оттуда в Сочи. На мне был пиджак в мелкую клеточку, из сумки торчали ручки двух теннисных ракеток. На улице за мной неожиданно увязалась гурьба мальчишек, наперебой радостно восклицавших:

- Кубанские казаки приехали, кубанские казаки!

Хотя о таких как я, шутят: на еврея он совсем не похож, разве что все евреи похожи на него, меня трижды принимали за казака.

ЗА ЧТО И ЗА КОГО МЫ ВОЕВАЛИ

Погожим весенним утром, под ликование круживших в пронзительно-голубом небе пернатых стай, рота автоматчиков заняла исходные позиции на подступах к Ахтырке.

Еще месяц тому назад Ахтырка была взята танковой атакой. Но не подросла пехота, застрявшая в «винных заграждениях», в немецких складах с продовольствием. По щиколотку утопая в сыпучих сугробах крупы и сахара, славяне жадно осушали котелки, полные вина, бывшего фонтанами из продырявленных пулями бочек. И, хмельные, валились с ног, тут же засыпая. А танки, проутюжив тем временем Ахтырку, без пехоты не могли освоить ее и повернули назад.

Немцы опять овладели городом.

И теперь наша рота вместе с другими, неся большие потери, отвоевывала Ахтырку заново. К полудню, когда нас из девяноста человек уцелело лишь немногим более десятка, с наблюдательного пункта, запыхавшись, примчался связной.

- Хозяин вызывает! – крикнул он мне. Одна нога тут, другая – там!

- Понимаешь, пленного захватили, из какой-то «Великой Германии», а переводчик не поймет его, - объяснил мне связной, когда мы подбежали к НП. – Ротный наш сказал хозяину, что ты здорово по-немецки умеешь...

В военном инязе, должно быть, не учитывалось, что в Германии на литературном языке разговаривают одни интеллигенты, а народ изъясняется на диалектах. И понять пленного-саксонца переводчику, конечно, было трудно.

Когда я обратился к пленному, тот, посветлев, спросил:

- Ты тоже немец, - и заулыбался. Казалось, что плен его ничуть не удручает.

- Нет, я еврей, - ответил я, но и это его совсем не смутило.

Пленный попался разговорчивый и охотно отвечал на все вопросы.

Допрашивал его, кроме командира полка, и командир дивизии, симпатичный, интеллигентного вида полковник в очках, приехавший на НП посмотреть, как ведется бой.

Видимо, начальство мой перевод одобрило. Комдив распорядился обратно на передовую меня не отсылать, оставить при штабе. И для меня война, казалось, уже кончилась. На передовой я провоевал более двух лет (почти год из них провалялся в госпиталях). Огрубевшие, натруженные лопатой пальцы рук уже плохо слушались, когда я пытался писать, а тем более – рисовать.

Из полковой разведки меня перевели в дивизионную, затем – в Разведотдел штаба армии. Но всюду я существовал на птичьих правах.

Я родился и до 1940 года жил в Латвии, при другом строе. Кончал в Риге среднюю школу, работал плакатистом, лыжным тренером, учителем гимнастики, изучал за границей архитектуру. И именно поэтому мне штатную должность не доверяли, офицерского звания не присваивали. Но мною не пренебрегали, когда проверенные, благонадежные офицеры пасовали при допросах пленных или когда нужно было кое-что изложить на бумаге, нанести на карте обстановку, чтобы не ударить лицом в грязь перед нагрянувшим с проверкой высоким начальством.

Однако я все-таки, наконец, видимо, случайно очутился на штатной должности, и меня даже допустили к совершенно секретной документации, без чего вполне можно было ею заниматься, но никак нельзя было получать положенное довольствие.

Во время Корсунь-Шевченковской операции я находился при Разведотделе штаба армии. По показаниям пленных мне удалось установить перегруппировку войск противника. Мою заслугу в этом оценил даже заместитель командующего: мы с ним, мол, сохранили жизни многих наших солдат. И начальник разведки – на редкость добрый и справедливый человек – представил меня к ордену, чем вызвал возмущение начальника штаба:

- В разведотделе у вас шестнадцать офицеров, а группировку противника раскрывает солдат! – И подписать наградной лист отказался.

В одном из корпусов срочно потребовался переводчик. И обиженный за меня начальник разведки предложил направить туда меня. Начальник штаба на этот раз,

видимо, не разобрался и подмахнул приказ о моем назначении. И так я обрел заветный допуск. Но в это время офицерское звание без специальных курсов штабным работникам уже не присваивались. И я рядовым прослужил в этой должности до конца войны и даже несколько месяцев исполнял обязанности помощника начальника Разведотдела корпуса.

И это даже могло обернуться для меня неприятностями. Разведчики и Отдел кадров пользовались общей телефонной связью, одним проводом. Начальник отдела майор В. часто подслушивал мои разговоры. И как-то на партсобрании (мне передали это по секрету) он попытался разоблачить меня: в прошлом, мол, я несомненно служил в белой армии офицером, иначе откуда рядовому так разбираться в военном деле. Однако партийцы штаба военным вундеркиндом меня не признали и не поддержали жаждавшего отличиться майора. В гражданскую войну мне было всего лишь пять – семь лет. Хотя далеко не всегда объективные реальности в сталинские времена принимались во внимание. Но на этот раз все же пронесло.

Только кончилась война, как меня направили немецким и английским переводчиком в Советскую часть Союзнической комиссии по Австрии. Сперва – при начальнике штаба Комиссии, затем – при политическом, то есть дипломатическом, советнике Главнокомандующего.

Осенью 1945 года я как рядовой по возрасту подлежал демобилизации. Но поскольку занимал офицерскую должность, был оставлен на службе. Пока, спустя полтора года, не был уличен в новом смертном грехе. Съездив впервые за шесть лет в отпуск в Ригу, я там нашел уцелевшего в гитлеровских концлагерях брата. Только я вернулся в Вену, как тут же был отстранен от всех текущих дел и через несколько дней выдворен из Вены. И тогда же сразу оформили мою демобилизацию.

В Ригу я возвращался в товарном вагоне специального эшелона вместе с тремя летчиками-фронтовиками и их семьями. На Украине и в Белоруссии было очень голодно. На станциях нас осаждали посиневшие от недоедания люди и просили помочь чем-нибудь.

В Даугавпилсе в вагон вошел почти опереточный румянолицый офицер в сопровождении молодцеватого сержанта. Офицер, лихо козырнув, представился:

- Заместитель военного коменданта гвардии майор П. – И попросил предъявить документы.

До войны майор П. дружил с одним из моих братьев, которого в начале войны убили нацисты, часто бывал у нас дома. Но боевой офицер, который, как потом выяснилось, отважно воевал, при виде меня в штатском растерялся и притворился, что не узнает меня. Но заглянув в мои документы, тут же попытался выйти из неловкого положения. Однако я в этом не поддержал его.

В Риге я сразу занялся своими квартирными делами.

До войны мы с женой, впоследствии погибшей в ленинградскую блокаду, жили в общей квартире, куда поселились незадолго до начала войны. В старой Латвии эта квартира принадлежала фабриканту, уехавшему за границу еще до вторжения Красной армии. Квартиру из четырех комнат и комнатки для прислуги он оставил своему главному инженеру. Семья инженера была невелика: жена да трехлетняя дочка. Опасаясь уплотнения, он одну комнату и комнатку для прислуги предложил мне. Нас с женой это вполне устраивало, тем более, что своей площади у нас не было, и мы снимали комнату.

Еще 28 июня 1941 года мы, все побросав, в чем стояли, бежали из Риги в Ленинград. Как фронтовику, мне полагалась довоенная площадь.

Пятикомнатную квартиру, видимо, надеясь, что бывшие жильцы уже не вернуться, облюбовал некий высокопоставленный деятель. Когда я впервые встретился с ним и спросил, где он работает, то он уклончиво ответил, что назвать учреждение не вправе. Но адрес таинственной организации нетрудно было отгадать, тот был написан у этого человека на лице, похожем на ничего не выражающую бездушную маску. Принял он меня более чем сдержанно. В квартире я обнаружил некоторые свои вещи: письменный стол, шкаф, переставленные в другую комнату. В комнаты, на которые я претендовал,

новый хозяин меня не пустил. Предложил через несколько дней встретиться снова. К тому времени он попытается что-нибудь придумать.

При следующей встрече он не без барского демократизма похвалил за мои ратные дела и заслуженные награды. И лишь невнятно промямлил что-то про какую-то замену. Но главным образом допытывался, почему я не вернулся в Ригу раньше. Меня насторожила его осведомленность обо мне: он знал, что я был рядовым, что по возрасту должен был демобилизоваться гораздо раньше, что я беспартийный, что я был уволен из-за брата. Я же только мог сказать ему, что был демобилизован в марте 1947 года, как и значится в моих документах. Было ясно, что у него тесные контакты с ведомством, которому обо мне известно все, даже более того.

Знакомые юристы посоветовали зря никаких переговоров не вести, а обратиться к районному прокурору. Что я и сделал.

Прокурор санкционировал мое вселение в довоенную квартиру. Начальник милиции выделил сотрудику, с которым я отправился в свою квартиру.

Дверь открыла «новая хозяйка», небольшая, плотная и смуглая женщина средних лет. При виде меня с милиционером она вся покрылась красными пятнами и заявила:

- Только через мой труп!

Я спокойно сказал:

- Неужели вы решили продолжать начатое Гитлером. Он из этой квартиры меня выгнал, а вы теперь меня не пускаете в нее.

В ответ она грохнулась на пол и забилась в истерике.

Махнув милиционеру рукой: «Пошли!» – я повернулся и ушел.

Я все же решил пойти к прокурору республики, наивно полагая, что он как блюститель законности повлияет на моего высокопоставленного обидчика.

Прокурор принял меня вполне учтиво и внимательно выслушал. Но по его тону я понял, что с таким человеком отношения портить не будет. Прокурор даже пытался убедить меня, что юридически я свои права на довоенную жилплощадь потерял. Мой логичный довод, что не мог же я самовольно бросить службу и уехать из Вены, прокурор пропустил мимо ушей и нудно продолжал твердить о правовом аспекте дела.

Ничего не добившись, я ухватился за последнюю соломинку. Ею был военком, который лучше других должен был бы разобраться в этом деле и уж непременно заступиться за фронтовика.

Только я вошел к военкому в кабинет, как по взгляду из-под узкого лба глубоко посаженных глазок полковника понял, что он, хотя и видит меня впервые, догадывается, кто к нему пришел. Что с ним обо мне уже говорили.

Одной рукой полковник обнимал жавшегося к нему мальчугана лет восьми, видимо, сынишку, а в другой держал телефонную трубку, в которую благодушно кого-то материл. Отпустив мальчонку, он небрежно показал рукой на стул и продолжал свой перемежаемый матом разговор.

Когда военком положил трубку, я сказал о причине своего прихода. Полковник рассеяно, со скучающим видом выслушал меня и, не задумываясь, словно повторил уже слышанное мною от прокурора.

Я окончательно убедился, что все они заодно.

«Кафка...» – сказал я себе на улице.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

М.Е., заместитель политического советника главнокомандующего, еще раз напомнил мне:

- Сегодня в двенадцать ноль-ноль встретишь Федерального канцлера.

На недавних, первых после войны, выборах в парламент победила Народная партия, лидером которой и был канцлер Фигль.

В Москве, принимая желаемое за действительное, надеялись на успех коммунистов. Но, несмотря на щедрую помощь оттуда, коммунисты добились всего лишь одного депутатского мандата.

- Понимаешь, - бесстрастно и нудно объяснял мне М.Е., - перед выборами наши газеты малость переборщили: Фигль, якобы, с фашистами заодно был. А оказалось, члены его партии и он сам в нацистских тюрьмах сидели. В секретариате Вышинского Фигля решили задобрить и, как у нас, открыть для его правительства продуктовый распределитель.

Канцлера я встретил у входа в «Гранд-отель», где мы сразу после войны и работали, и жили.

Низкорослый и коренастый, с курчавой головой на длинной, с выпуклым кадыком шее, он мозолистой рукой крепко пожал мою. Усатое обветренное лицо, весь его облик выдавали крестьянина, а по осанке, манере держаться он мог сойти и за сельского учителя. Симпатичным этого человека назвать нельзя было, но он весь, казалось, излучал суровую энергию и напор.

Я проводил канцлера к М.Е. и мы втроем расселись за овальным столиком.

Обменявшись с Фиглем несколькими общими фразами, М.Е. перешел к сути дела:

- Ваша страна сейчас терпит продовольственные трудности. У нас решили помочь вам – открыть для правительства продуктовый распределитель.

По удивленному и растерянному лицу канцлера казалось, что смысл моего перевода до него не совсем дошел.

Заметив это, М.Е. свое заявление уточнил, и канцлер, выпучив глаза, весь подался вперед: еще сильнее забагровело красное лицо, на скулах нервно задвигались желваки.

- Нет, это невозможно, - отрицательно замотал он головой. – Если мы будем лучше питаться, нам перестанут доверять...

Растерялся и мой начальник. Как обычно в таких случаях, у него вытянулось лицо и отвисла челюсть. Но, взяв себя в руки, он тем же скучным унылым тоном принялся увещевать канцлера:

- Лучше будете питаться, лучше будете работать, скорее наладите нормальную жизнь.

Канцлер снова завертел головой:

- Я очень вам благодарен, но принять вашу помощь не могу...

И на этом они, так и не поняв друг друга, расстались.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

После долгого рабочего дня я, усталый, вернулся домой. Решил принять ванну, но едва я погрузился в нее, как раздались несколько ударов ногой в дверь и дикий вопль:

- К маршалу вызывают!

Это был ординарец моего начальника – политического советника главнокомандующего.

Я выскочил из ванны, быстро вытерся, оделся и кинулся через улицу – в отель «Империял», в наш штаб.

Меня встретил взволнованный заместитель моего начальника и сунул в руку подлежащий устному переводу текст. Я пробежал его глазами и удивился. Это было признание Советским правительством Федерального правительства Австрии. Как мне было известно, мы договорились с союзниками, то есть – с англичанами, американцами и французами, сделать это совместно. Но в Москве вдруг решили по-другому.

Появился Конев. Как обычно, осанистый, подтянутый, но выражение его лица было другим – не таким жестким и уверенным, как всегда.

За маршалом вошла группа генералов. Все расселись за длинным, обитым зеленым сукном столом. Вскоре в зал, сопровождаемый сотрудником политического советника, просеменил федеральный канцлер Фигль. Ему предложили занять место против Конева.

Маршал встал и обменялся с Фиглем короткими протокольными любезностями. Но при этом почему-то обращался к стоявшему рядом переводчику, то есть – ко мне, а не к Фиглю. От Конева веяло ароматом, видимо, французского коньяка. (Между прочим, он слыл непьющим.)

Читая русский текст заявления, Конев о канцлере как бы забыл и в упор смотрел на меня, словно заявление адресовалось мне. Кончив читать, он, так и не сводя с меня глаз, расплылся в улыбке и принялся дополнять прочитанное приличествующими, по его мнению, в данном случае словами.

Канцлера вскоре проводили. Генералы и дипломаты были отпущены. Мы с маршалом остались наедине.

Конев набычился и мрачно уставился в стол, упершись в него крепко стиснутыми тяжелыми кулаками. Возможно, до него дошло, что он натворил. Я для него, казалось, перестал существовать.

В гнетущей тишине я подал голос:

- Товарищ маршал, разрешите идти!

Маршал не услышал меня. Я несколько раз повторил свою просьбу, но, так и не удостоившись ответа, повернулся и вышел.

О нашем признании федерального правительства предстояло поставить в известность союзников. Это поручили сделать заместителю политического советника. Я поехал с ним в качестве переводчика.

Уже был поздний вечер, когда мы прибыли на квартиру заместителя американского политсоветника., в прошлом помощника государственного секретаря Ачесона – Грея.

Нас встретил респектабельный, элегантный господин и сразу сунул каждому в руку по стакану и одному за другим подал бутылку, чтобы налили себе сами. Ни я, ни мой шеф джина никогда не пили и налили себе больше, чем следовало, но свою оплошность осознали только после того, как хозяин дома плеснул себе лишь на самое донышко стакана. Однако мы с шефом, не моргнув, осушили стаканы.

Быстро переведя дух, мой начальник приступил к делу:

- Сегодня Маршал Советского Союза Иван Конев принял федерального канцлера Австрии господина Фигля и вручил ему заявление Советского правительства о признании федерального правительства Австрии...

- Позвольте, - перебил его американец, - мы ведь договорились сделать это совместно.

Словно пропустив замечание Грея мимо ушей, мой начальник повторил:

- Сегодня Маршал Советского Союза Иван Конев принял федерального канцлера господина Фигля...

И опять Грей с недоумением перебил его, вернее – мой перевод.

Так мой шеф повторял это раз пять. И всякий раз я, не зная, куда девать глаза, готовый провалиться сквозь землю, как попугай, вторил ему.

Американец взывал ко мне, прося растолковать шефу и без моего перевода тому ясный смысл слов Грея.

А мой шеф, ничуть не смущаясь, наконец встал и простился со все недоумевающим хозяином дома.

И так, не поняв друг друга, вернее – сделав вид, что не поняли, дипломаты расстались.

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

Накануне выборов в Верховный Совет нам было велено к четырем утра собраться в вестибюле гостиницы, откуда мы всем кагалом отправимся на избирательный участок... в бывшем императорском дворце - Гофбург-е!.

Для меня это первые такие выборы, и я не пойму, чего ради чуть свет идут голосовать.

К назначенному часу все сотрудники отдела в сборе. Правда, сильно заспанные, но приодетые, мужчины в неумело нахлобученных шляпах.

Наш начальник, изобразив на постном лице полное удовлетворение, гурьбой ведет нас по еще темному, плохо освещенному после войны Оперному кольцу. Мимо призрачно маячащих развалин ажурного Собора Святого Стефана и знаменитого здания Венской Оперы.

Входим в великолепный «Гофбург», изуродованный предвыборными лозунгами на алых кумачовых полотнищах.

Большинство из нас, точно заведенные, безмолвно подходят к столикам с бюллетенями и списками избирателей. Расфуфыренные улыбающиеся женщины суют каждому по несколько листков, в которые почти никто и не заглядывает. Зачем-то нас направляют в красные кабины: должно быть, чтобы помнили, что выборы - тайные.

Царит атмосфера показной, неискренней торжественности, оправдываемой лишь паническим страхом перед тем, что может стрястись, осмелюсь кто отбиться от стада.

И в завершение всего: стоящий подле урн именинником – в новеньком, с иголки, сверкающем орденами и медалями, кителе – толстый майор-парторг. С дежурной улыбкой на масленой, ханжеской физиономии он слащаво поздравляет каждого проголосовавшего и чувствительно пожимает и трясет ему руку.

Все делают вид, что принимают это как должное, благодарят.

Выполнив свой «долг», мы бредем домой, уже не толпой, а по два, по три. Я иду рядом с другом. И не сдерживаюсь, чтобы не шепнуть:

- Финита ла комедиа!

Друг молчит, но в темноте я улавливаю его мудрую улыбку.

ВЫШЕЛ СУХИМ ИЗ ВОДЫ

В кабинете своего шефа, политического советника главнокомандующего, я увидел на столе банку теннисных мячей, которые после войны были большой редкостью. Я как заядлый теннисист не выдержал и поинтересовался, откуда у шефа мячи. Он согласился открыть тайну, но с условием, что не выдам его, даже если мы поссоримся с ним когда-нибудь. Я, конечно, заверил его в этом.

Мячи подарил ему американский коллега. Я еще плохо разбирался в тонкостях советских нравов. В Латвии я при советской власти прожил всего лишь один год, последующие четыре года прошли на фронте. И осторожность моего начальника показалась, мягко говоря, странной. Однако он в бытовавших тогда нравах был куда искушеннее меня. Но и он не принял от американца мячи не мог, не желая попасть в глупое положение. Тем более, что это могло сказаться на деловых отношениях. Как я понял уже потом, он решился на немалый риск.

Чуть погодя я и сам оказался перед такой же дилеммой, только у меня все сложилось куда хуже.

Английский майор и дипломат, служивший помощником у своего брата, предложил мне сыграть в теннис, но у него в Вене не было ракетки, и я дал англичанину свою запасную. (И все это с благословения моего начальства.) Поиграв со мной, англичанин обещал из ближайшей поездки в Лондон привезти мне мячи. Вскоре он улетел туда. А я, помня об осторожности шефа, лишился покоя, не зная, как выйти из создавшегося положения. Тем более, что майор, как я понимал, в наших нравах ориентировался еще хуже меня и мог вручить мне мячи там же на заседании Политического директората, в котором мы с ним работали.

Настал день очередного заседания. К тому времени мой теннисный партнер уже вернулся. Я сослался начальству на скверное самочувствие, и меня заменил мой товарищ. На заседании майор попросил его передать мне, что свое обещание выполнил.

На следующем заседании товарищ снова выручил меня.

На этот раз англичане пригласили всех сотрудников Директората – американцев, французов и нас, на предстоявшие военные игры их армии и передали приглашение также мне. Однако наш руководитель почему-то за меня его отклонил, сославшись на мою, якобы, занятость именно в день игр, а мне об этом не обмолвился ни словом.

Как раз в тот день я пошел на теннис. А англичане, обещавшие за нами заехать, по пути к нам проезжали мимо корта и увидели там меня.

На ближайшем заседании, на которое я снова ухитрился не явиться, они возмущались моим свинским поведением: ради тенниса пренебрег, мол, их приглашением.

И так мое положение осложнилось еще больше.

Но тут, к счастью, моего теннисного партнера и его брата отзывают в Лондон. И они, как это водится в дипломатических кругах, устраивают прощальный прием, на который меня за нетактичность, к моему великому удовольствию, не приглашают.

Так я вышел сухим из воды.

ГРИМАСЫ И УЛЫБКИ

В генеральском кабинете замначштаба на столе лежал длинный список приглашенных на прием в Гофбурге по случаю годовщины Октябрьской революции. Рядом белел лист ватмана с планом зала.

Прием предполагалось начать концертом с участием знаменитых московских артистов. Генерал с моей помощью решал, где кому из именитых гостей сидеть. Он полагался на мою осведомленность о том, кто есть кто, и дело двигалось у нас сравнительно гладко. Заминка произошла лишь с главой католической церкви Австрии кардиналом Инницером. Я предложил его посадить между федеральным канцлером и настоятелем православной церкви бывшего царского посольства.

- Между ними только одно место, - возразил генерал. – а бабу его куда?

- Нет у него бабы, - ответил я.

- А ты почему знаешь? – удивился генерал.

- Католическое духовенство дает обет безбрачия, - пояснил я.

- Так вот оно что, а я и не знал, что бабы им не положены. И как же они... - Но не успел генерал договорить, как в кабинет, не постучав, ввалился подполковник. Вид у него был явно неуставной: лицо мятое, волосы растрепаны, пуговица под воротником кителя не застегнута. К моему удивлению, подполковник уселся на стол, выпучил на нас мутные глаза и, ткнув пальцем в план, хрипло спросил:

- А моим места оставили?

- Оставили, - бросил генерал, при мне, видимо, не желая пускаться в подробности.

По сдержанности генерала я понял, кто такой этот наглый офицер.

Настал день приема. После концерта гости устремились в смежные залы и сразу обступили длинные столы, ломившиеся от заливных поросят, красной и черной икры, желто-розовых балыков, нежной ветчины, буженины и прочей изысканной снеди, от разноцветных марочных вин, ликеров, водок, коньяков, шампанского, фруктов.

Иностранцы так увлеклись яствами и напитками, что даже забыли о хозяевах и остальных коллегах. На приемах у союзников, особенно, у французов, угощали весьма скромно, бывало – и одними бутербродами с вареной колбасой, да и без масла еще притом.

Ко мне подошел начальник советской части межсоюзнического секретариата. Уже пожилой, но подтянутый дипломат. Несмотря на свое положение, он, как огня, избегал иностранцев. Он тут же заговорил о своих опасениях: сейчас, мол, приставать начнут. И стал приглашать меня к себе в гостиницу. Из Москвы вернулась жена. Привезла оттуда разные лакомства.

Мы сидели у него в номере и пили грузинское вино, закусывая гостинцами его жены, посвящавшей нас в последние московские новости.

Неожиданно распахнулась дверь, и в комнату, петляя, проковылял уже знакомый мне подполковник. (На сей раз в штатском.) И рухнул на кровать, выронив при этом из кармана брुक пистолет. За пьяным подполковником вплыла полнотелая, с лицом, как блин, баба в длинном, усыпанном блестками черном шелковом платье. Цепко схватила телефонную трубку, набрала номер и скомандовала:

- Вань, ехайте сюды, в гостинице мы, в четыреста пятьдесят третьем!

Воцарилось неловкое молчание, нарушенное лишь минут через десять, когда, постучав в дверь, вошел и поздоровался молодцеватый сержант-водитель. Он сноровисто приподнял и поставил на ноги своего начальника, взял под руку и увел. Толстуха-супруга сгребла с кровати пистолет и безмолвно уплыла за ними.

Растерянный хозяин дома лишь пробубнил:

- Не пойму, что это с Котиковым...

Поблагодарив за угощение, я удалился.

Зимой 1947 года меня за шесть лет впервые отпустили на две недели домой.

Из родных я в Риге нашел лишь старшего брата, чудом уцелевшего после гетто и концлагерей. Его освободили американцы, затем он два года бился со смертью в

немецкой больнице. Нас было у родителей пятеро взрослых сыновей и единственная, еще малолетняя, дочка. Гитлеровцы руками местных головорезов убили мать, отца, двоих братьев и сестренку. Младший брат пал на фронте.

- Ну, как съездил, - спросил заместитель начальника.

Пока я рассказывал о погибших, он участливо слушал, но только я заговорил о спасшемся брате, как у него вытянулось лицо и отвисла челюсть. Я замолчал. И он сразу отпустил меня.

После нашего разговора ему предстояло принять федерального министра иностранных дел. Министра я обычно встречал и переводил в переговорах с моим начальством. Теперь от моих услуг уже отказались.

Утром на работе я, поднимаясь по лестнице, столкнулся с начальником отдела кадров. Он остановил меня, обнял за плечи и увлек к себе в кабинет. Не предложив даже сесть, запинаясь, промямлил что-то о больших сокращениях, в связи с чем командование вынуждено меня уволить. И он назвал уже установленный день моего отъезда.

И так я через несколько дней оставил Вену.

В Риге я прожил уже лет пять...

На кортах «Динамо» я иногда встречался с теннисистом, довольно часто наезжавшим по своим делам из Москвы. Однажды он привел с собой незнакомого мне человека. Когда мы с партнером переоделись и вышли на площадку, незнакомец взобрался на судейскую вышку, чтобы посудить нас. Только мы кончили играть, он спустился с вышки и обратился ко мне:

- Не узнаете? Мы с вами знакомы по Вене. Вы у политического советника работали.

- А что делали там вы?

Я пристально всмотрелся в него – и узнал:

- Так вы Котиков?

- Я больше не Котиков, а Кукушкин...

Передо мной на самом деле был совсем другой человек: почти одухотворенное лицо, волосы аккуратно причесаны, вполне прилично сидел на нем костюм.

Он достал из бокового кармана пиджака и подал мне научно-популярную брошюрку по физике. Я прочел на обложке фамилию автора – Кукушкин.

- Вот видите, физикой занялся, книжки выходят.

Меня, естественно, это удивило, но еще больше удивило, как он себя вел со мной. В жизни я видел его – только видел! – лишь два раза. И спросить что-то о нем, конечно, не решился бы. Хотя он обо мне-то знал более чем достаточно.

Он приехал в Ригу на автомашине и предложил мне катануть, как он выразился, на взморье, посидеть где-нибудь, вспомнить Вену. Его превращение меня, признаться, заинтриговало, и я поехал с ним. Тем более, что жена тогда отдыхала на юге, и я был один.

Кукушкин прекрасно вел машину, и за разговорами мы незаметно добрались до цели. По дороге я также вспомнил, как нелепо меня уволили. И вот оказалось, что заменить меня более трех месяцев было нечем. В Москве никак не могли подобрать подходящего человека.

- А может и лучше, что вас тогда уволили. В МИД вас все равно не взяли бы, - глубокомысленно произнес Кукушкин.

- Почему?

- Хотя бы уже потому, что у вас есть все данные, чтобы работать там. Владеете несколькими иностранными языками. Почему? – спрашивается. По-европейски одеваетесь. Неспроста это, конечно. И манеры у вас не наши. Откуда? В наших вы ведь спецшколах не обучались.

В майорском ресторане мы скромно, в смысле выпивки, поужинали. На обратном пути Кукушкин попросился ко мне ночевать, хотя, по его словам, он остановился в гостинице.

Утром мы позавтракали и расстались. Я так и не понял, на что я, совершенно чужой ему человек, дался Кукушкину. Не заметал ли он какие-то следы? С тех пор я уже никогда больше не видел его.

В 1956 году двое моих друзей побывали в Италии на зимних олимпийских играх в Кортино д-Ампеццо. Как раз к их возвращению я оказался в Москве, и они, делаясь впечатлениями, показывали мне нащелканные там фотографии. На одном снимке я среди группы писателей узнал Котикова, или Кукушкина.

- А как Кукушкин в вашу компанию попал?

- Почему Кукушкин? – спросил один из моих друзей. Фамилия его – Козинцев. Инженер-строитель.

Я рассказал им о своих встречах с Котиковым-Кукушкиным, про его загадочные похождения.

И теперь друзья вспомнили, что Козинцев часто отлучался из группы, что в то время категорически запрещалось. Они также заметили, что он очень долго где-то пропадал на обратном пути – в Вене.

РЪКЕТИРЫ

Я вернулся в Ригу. Жизнь надо было начинать заново. То, чем я занимался два последних года за границей, было уже не для меня. Мешали темные пятна автобиографии: пятый пункт, беспартийность, чудом уцелевший в гитлеровских застенках брат и, наконец, сама работа за рубежом – пускай и служебные, но все же контакты с иностранцами.

С рекомендательным письмом я был принят Председателем Совмина. Он предложил мне вернуться на довоенную работу. Мне она показалась неперспективной. Учитывая мой переводческий опыт, председатель направил меня к своему заместителю по культуре, а тот – в издательство.

В издательстве переводов не оказалось. И мне поручили отредактировать сборник переводных рассказов. Моя работа была принята. Автор, ознакомившись с ней, попросил меня перевести его роман. Книга была удостоена Сталинской премии. В хвалебных рецензиях не был обойден и я.

Роман начали переиздавать. И, в надежде погреть руки, вокруг меня засуетились разные околотературные деятели.

Редактор московского издательства, которое первым переиздало премированную книгу, написал когда-то конъюнктурный роман, замеченный одним из основоположников советской литературы. Это было первым и последним произведением редактора Г. Зато он стал крупным знатоком того, как и что следует писать другим. И никогда не расставался с театральной позой, по его мнению, видимо, обязательной для маститого писателя. Ходил, выпятив грудь и высоко неся голову с крашеной, словно облитой черным лаком, завитой шевелюрой. И пребывал в постоянном подпитии.

Он увлек меня к себе в кабинет. Предварительно щелкнул ключом в дверном замке и, осанисто усевшись за стол, начал ласково-елейным голосом:

- Вы, я надеюсь, не прочь и впредь печататься у нас. Но тогда вам придется кое-что уступить из гонорара. У нас так принято. Ведь редакторы получают совсем немного.

Я растерялся, но взял себя в руки и уступить кое-что из гонорара отказался. Тогда редактор, не меняя тона, предложил обмыть переиздание. Не мог же он упустить такой случай.

Однако мне повезло. Редактора вознесла волна травли космополитов. Его назначили заведующим редакцией, не имевшей ко мне никакого отношения. И мои переводы издательство продолжало печатать.

В Ригу часто наезжал некий К. из «Литгазеты», где он работал в отделе, занимавшемся литературами народов. Обаятельный и вальяжный молодой человек, красноречиво, с упоением разглагольствовавший об идейно-художественных достоинствах и изъянах той или иной книги. Он пописывал и сам, но явно неудачно, ибо, несмотря на твердые идейные позиции, личный шарм и услужливость перед властью предержавшими литераторами, его в Союз писателей не принимали.

В бытность мою в Москве К. пригласил меня к себе в редакцию. Сразу, без обиняков, он попытался склонить меня к соавторству с ним. Ему стало известно, что московское издательство собирается напечатать в моем переводе книгу высоко котирующегося писателя. Предложение К. меня, естественно, удивило. С какой стати мне с кем-то делить гонорар, тем более, что и издательство, и автор доверили работу именно мне. К. выслушал мой недоуменный ответ и, не гася на лице обворожительной улыбки, тут же пригрозил:

- Устрою вам, что вы не будете столько переводить.

К этим словам я отнесся как к неуклюжей шутке.

Спустя несколько месяцев в статье, написанной им по случаю первого всесоюзного совещания переводчиков, один абзац был посвящен мне. Там говорилось, что мои переводы хорошо известны широкому кругу читателей и сами по себе никаких нареканий не вызывают, однако читатели не знают, что переводы эти являются результатом труда многих других людей. При этом автор статьи не упомянул ни одного издательства, не назвал ни одной книги, не указал никого из моих «негров».

Голословным утверждением он, рассчитывая на опасные для лиц с моей фамилией веяния, одним ударом надеялся сразить меня наповал.

Однако на сей раз «критик» просчитался. Недели через две после появления его разоблачительных строк меня приняли в Союз писателей. И притом по инициативе его правления. А кандидатскую карточку (тогда существовало еще и это) подписал никто иной, как главный редактор «Литгазеты».

Видимо, испугавшись осечки, К. в опубликованной им в республиканской газете рецензии на рассказы латышского классика похвалил мои переводы.

Пытался стать моим соавтором и бывший парторг московской писательской организации Р. Хотел вместе со мной «перевести» книгу старейшего латышского писателя. Он соблазнял меня своими связями в литературном мире, которые обеспечат книге большой тираж. Ну и вообще, она выйдет в лучшем виде. Но когда я на соавторство не согласился, то сразу последовали санкции. Подвизаясь в нескольких московских издательствах внутренним рецензентом, Р., как только попадала к нему на рецензию рукопись моего перевода, непременно учинял мне разгром, заодно безжалостно расправляясь и с автором книги, если тот, конечно, не занимал в республике ведущего положения. При этом рецензент не брезгал не существующими в тексте, самим же им придуманными огрехами.

В собственных же опусах этот праведного, аскетического вида пожилой человек бичевал отступников соцреализма и воспевал генералов от литературы, чем снискал уважение заискивающих перед центром руководителей периферийной литературы. С особой яростью Р. нападал на космополитов, старясь так прослыть полезным евреем.

Все эти околослитературные деятели, крича «держите вора!», обдeldывали свои грязные делишки. А человек, оклеветанный ими якобы ради святой преданности идее, делу партии, мог лишиться работы, средств к существованию и даже угодить в места не столь отдаленные.

Весною 1953 года меня по телефону попросила зайти приятельница, книги которой я переводил. Я застал ее чем-то очень расстроенной. Когда мы сели за стол, то она чуть ли не шепотом, под строжайшим секретом сообщила мне, что против меня фабрикуется дело, хотя бы приписать мне ряд грехов, в том числе и связи с космополитами. В то время я в Союзе писателей руководил русскими переводчиками. Приятельница дала понять, что было бы хорошо, если бы я эту общественную должность оставил.

Я написал в секретариат заявление, в котором сослался на слабое здоровье и просил освободить от занимаемой должности. Если учесть мою тогдашнюю спортивную форму, то я, наверно, был в Союзе писателей самым здоровым человеком.

Первый секретарь встретил меня с вежливым, но растерянным выражением на лице. Я молча положил на стол перед ним заявление. Секретарь, тоже молча, склонил над столом лысую голову. Затем, не поднимая ее, слегка запинаясь, изрек:

- Не думай, что мы считаем тебя бандитом, ты наш парень, фронтовик, но в нынешних условиях это лучшее, что ты можешь сделать.

Я поинтересовался, кто такие «мы», но ответа не получил.

Прощаясь, секретарь, опять же молча, сочувственно пожал мне руку.

Я решил не мозолить недругам глаза и уехал в кемерский санаторий подлечить перетруженный теннисом локоть. Пока я лечился там, умер Отец и Вождь всего прогрессивного человечества.

Вскоре врачи-убийцы и прочие космополиты были реабилитированы.

КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Мы рождены, чтоб Кафку
Сделать былью...
Из современного фольклора.

Игнатъевскому, несомненно, кто-то покровительствовал. Недаром этот белообрый с туповатым лицом парень на экзамене, ничуть не таясь, писал сочинение по шпаргалке. А на устных экзаменах протащить его было еще проще.

И из более полусотни претендентов он оказался среди десяти принятых на отделение английского языка.

К концу семестра фаворит не сдал ни единого зачета... и перевелся на юридический факультет. Но затем проникал не столько в дебри права, сколько в чужие квартиры. При девятом по счету ограблении его и двоих сообщников, тоже студентов, - сына видного деятеля и сына пролетария, - схватили с поличным.

Чада именитых папаш отделались легким испугом, а отпрыска пролетария уперли за решетку.

Ректор поспешил задним числом вычеркнуть троицу из университетских списков.

Одновременно с Игнатъевским поступал в университет и мой сын – Леонид. Историю и английский язык он сдал на пятерки. Сочинение написал на четверку. Высшей оценки за сочинение никого не удостоили, чтобы не потеснить Игнатъевского. А на устном экзамене по литературе ради него, помня о пятом пункте, пожертвовали Леонидом.

- Бывают ли у советских писателей отклонения от метода социалистического реализма? – ехидно спросила одна из преподавательниц, поправляя шиньон на затылке.

- Нет, - ответил Леонид.

- А романтические произведения Друцэ и Михалкова? – кинулась на подмогу коллеге другая.

- Это разновидность метода соцреализма, - не дал сбить себя с толку Леонид.

Но ему все равно поставили четверку. И он на полочка не дотянул до проходного балла.

Как мне объяснил декан, сын оказался первым за чертой под списком принятых. Декан советовал поступить на вечернее отделение. На дневном кто-нибудь может отсеяться. И сына затем переведут туда.

Этот разговор состоялся при заведующем кафедрой английского языка. Он попросил меня зайти к нему.

- Вы, пожалуйста, не обижайтесь на декана и меня, - начал он без предисловий. – Порою нас заставляют принимать самых бездарных, а когда они с грехом пополам кончают, лучшие места отдают им. Хочу, чтобы вы это знали.

Я решил посоветоваться с оргсекретарем Союза писателей. Он тут же связался по телефону с ректором и, кратко изложив суть дела, попросил принять меня – старейшего и уважаемого члена Союза.

Ректор встретил меня недоуменным взглядом. Мое обличье, видимо, не отвечало его представлениям о старейших и уважаемых литераторах. Но уже через миг лицо его стало непроницаемым и картинная поза, в которой он уселся – еще величественнее: расслабленные кисти рук легли на подлокотники кресла, голова уверенно вскинулась.

Пока я говорил о причине своего прихода, не ясно было, внимает ли ректор в мои слова. Но едва я замолчал, как он бесстрастно изрек:

- Мы с вами на экзамене не присутствовали и не знаем, так ли все было на самом деле.

- Придумать это трудно, заметил я и добавил: - Такого рода вопросы обычно нашим литераторам задают западные журналисты.

На лице ректора промелькнула тень.

- И лучше не наказывать виновного, чем покарать невинного, - продолжал я. – Не мне вам, опытному правоведа, говорить это.

Пропустив последнее замечание мимо ушей, он лишь сказал, что у него нет свободных мест и, к сожалению, ничем не может мне помочь.

А как раз на днях я слышал, что на юрфаке нашлись места для нескольких сынков и дочек строителей ректорской дачи.

- Не унижайся зря перед ними. Нечего тебе с ветряными мельницами сражаться, - убеждал меня один из моих друзей.

- Если кто унижается, так это они, - возразил я.

Одна моя добрая приятельница, возмущившись моими злоключениями, обратилась к секретарю ЦК по пропаганде. Тот пообещал ей, известной латышской писательнице, разобраться. Она оставила секретарю мое письмо, которое он передал в Отдел высшей школы.

Я созвонился с заместительницей заведующего Отделом, которая любезно, даже ласково ободрила меня: непременно постарается, мол, помочь мне. И попросила названивать.

Казалось, затеплилась надежда. Но она стала угасать, когда я узнал, что несколько лет тому назад ректор вне конкурса принял на этот же факультет дочек-двойняшек цековской дамы. Поэтому ее помощь сводилась лишь к тому, что она направила меня к менее значительным работникам университета и министерства: к секретарю Приемной комиссии, проректору, к начальнику Управления вузов. Меня внимательно и участливо выслушивали, долго, порою не о том, беседовали со мной, но ничего конкретного не сулили.

И все же я настоял в Приемной комиссии, чтобы та выяснила истину относительно экзамена по литературе. Секретарь обещал выслушать обе стороны. Но извещение, посланное комиссией, опоздало на два дня, и та заседала без Леонида.

По словам секретаря, экзаменаторы утверждали, что про отклонения от соцреализма не они говорили, а Леонид.

Тогда я потребовал – уже от начальника Управления вузов – очной ставки экзаменаторов с Леонидом. И та состоялась в министерстве. Но теперь обе дамы без зазрения совести уверяли, что по литературе они поставили Леониду пятерку. А четверку вывели потому, что ошиблись, оценив на четверку грамматический разбор. И показали работу сына, под которой четверка была исправлена на тройку. Леониду сразу бросились в глаза ошибки, привнесенные чужой рукой. Так, задним числом, экзаменаторы пытались оправдаться. Иначе при пятерке по литературе и четверке по грамматике полагалась бы общая пятерка.

Сын вышел ко мне расстроенный и, обреченно махнув рукой, попросил больше не связываться с ними.

Вскоре прибыло официальное уведомление за подписью министра о том, что, согласно проверке установлено, что за экзамен по русскому языку и литературе четверка поставлена правильно.

К концу первого семестра с дневного отделения ушел Игнатъевский, и там освободилось место. Но с вечернего перевели туда не сына, а студентку, сильно отставшую от него на вступительных экзаменах.

Я кинулся к декану. Тот сослался на указания из министерства. Я – туда. Там я ничего, кроме уклончивых ответов разных сотрудников не добился.

Я понял, что и тут дело нечисто. А поскольку нечестные люди обычно трусливы, я решил припугнуть их.

Этим намерением я поделился с уже упомянутой приятельницей.

Она предложила пойти на хитрость – нечего, мол, церемониться с ними!..

Она своей знакомой из того же министерства поведала, какие у меня в Москве влиятельные всесильные друзья. Они, мол, знают про эту историю и обязательно вмешаются.

Все это было передано куда следует и безотказно сработало.

Когда я снова явился в министерство, меня там встретили небывало учтиво, даже радушно. Начальник управления по-дружески, положив руку мне на плечо, уговаривал потерпеть до конца учебного года, и тогда все непременно образуется. Но сына это не устраивало. Его призвали бы в армию, и на два-три года учебу пришлось бы прервать.

Я понял, что обстановка изменилась в мою пользу и что не следует упускать возникшую возможность. И решил про обман с переводом на дневное отделение высказать самому министру. Я подозревал, что он непосредственно к этому не причастен.

Пока я ждал в приемной, из кабинета министра вышел начальник Управления вызов и, я сказал бы, искательно со мной поздоровался. Затем поманил к себе вертевшуюся там пышную крашеную блондинку в ярко-красном платье – помощницу министра. Пошептавшись с ним, она подошла ко мне и сказала:

- Вы к министру не ходите, начальник Управления уже все уладил.

Назавтра мне позвонил домой... заместитель министра. Все, дескать, в порядке, только я зря не обратился к нему – он сразу все решил бы. Пускай сын теперь лишь напишет заявление с просьбой перевести его на дневное отделение.

Прошли три года...

Как-то я у знакомых разговорился с престарелой университетской латинисткой. Ее внучка с детства изучала английский и мечтала поступить в университет. Бабушка попросила коллегу-англичанку послушать внучку. Та очень высоко оценила знания девочки, но поступать в университет не посоветовала. Года три тому назад на английское отделение, правда, приняли еврейского мальчика, но за несколько лет до, как и за все годы после этого, туда ни один еврей принят не был.

Оказалось, я и на самом деле сражался с ветряными мельницами.